

— Мне ведь завтра, вернее уж сегодня, на работу... Ну да ладно. Объясню шефу про свою бессонную ночь, пусть нарядит катать-таскать, двигать, короче, на грубую работу чтоб отрядил, — для реставрации я сегодня не гожа...

Долго стояли обнявшись, молча, только время от времени сильнее прижимались друг к другу — перед разлукой, а какой длины она окажется? У него с семьей пока все покрыто мраком неизвестности. Я пообещала, что как смогу, так и приеду... «У тебя голубая мечта — Урал. У меня мечта, чтоб у вас все устроилось с жильем; чтоб Ирину не подвело здоровье—двое ребят... курит она много. Я как-то сказала, что надо бросать, а она: «Я и сама понимаю, что надо бы бросать, мне и кофе уж горек, и сигареты... но ведь у меня только в детях да в этом и радость...»

Днем другого дня сдала ключ от квартиры в домоуправление при свидетелях, получила необходимые бумаги и расписку, что ордер сдан, а вечером Андрей увез меня на вокзал — до Москвы я уезжала поездом.

### Часть третья

#### СИБИРЬ

*Много лет размышляя я над жизнью земной.*

*Непонятного нет для меня под луной.*

*Мне известно, что мне ничего неизвестно! —*

*Вот последняя правда, открытая мной.*

*О. Хайям*

Первые минуты, может быть, даже всю ночь, пока я ехала поездом «Вологодские зори» из Вологды в Москву, душа моя и ум, и сердце были переполнены разлукой с детьми и внуками. Всегда ведь кажется: им-то я нужна и им тоже жаль, что я уезжаю, будет часто меня не хватать. А уж как мне было жалко их, как я сожалела, что сделала для них мало из того, что хотелось бы, да и те ли дела и всегда ли была справедлива? И думалось, как у Ахматовой: «...умнее надо быть, умнее, добрее надо быть, добрее, но мало времени уже...»

Когда летела в самолете, поначалу думала: пыталась представить, как да что, встретят — не встретят, мало ли. Но чем ближе к Красноярску, тем волнение сильнее...

Прилетела рано утром. Встретил Виктор Петрович, расцеловались, тут же оказался еще один из красноярских писателей, затем ждали какую-то женщину, чтоб довезти до города. Она поздоровалась с Виктором Петровичем, поблагодарила, что по-

ждали, — я будто и ни при чем. Сказал, что не выпался. Я хотела сказать: «Я — тоже», но сдержалась, поскольку у нас разные на то причины: здесь же разница во времени, и спал ли он вообще? А у меня — грусть-госка меня съедает, и не только... Ну, слава Богу, вот он, Витя мой, по виду здоровый — это главное. А то, что разговору наперебой, как ожидала, пока нет, так теперь время наговориться будет... Что переезд сюда более чем странный — так что теперь поделаешь? Слов нет, все могло быть проще, лучше, даже радостней, но, увы...

Мы в общей сложности на Урале, значит, на моей родине, прожили четверть века. «Разнообразно» жили — в это понятие я вкладываю смысл немалый: и нужда, и дочку схоронили, и работа всякая. Но были и радости, пусть даже маленькие, и друзья были, хорошие и надежные, и в праздники гуляли не хуже людей... Все было. И милая сердцу Быковка была.

Вологодчина была как бы нейтральной полосой: ни моих родных, ни богатых, ни бедных, ни Витиных, да разве в этом дело? Зато была хорошая квартира, особенно последняя (ну не все же сразу!). Москва и Ленинград близко, и мы с Витей туда и сюда наезжали и тоже хороших друзей обрели, и радостей немало пережили.

И в Большом театре бывали — шутка ли! И самим Евгением Александровичем Мравинским были приглашены на концерт! И нам даже многие ленинградцы — завсегда! — завидовали, поглядывали на нас с недоумением, откуда, мол, такие тут еще взялись, да на такие хорошие места усажены? А нам радостно — знай наших! Были случаи, когда с Витей обходились не лучшим образом — везде же и всюду люди разные есть, — это я всегда горько переживала, думала, если б знали, что он за человек и за писатель — за полверсты расшаркивались бы...

Как-то все будет здесь? Родни много, она, как и у меня, и у других, — разная. Так ее не переделаешь. Значит, надо принимать, какая есть? Главное, чтоб меня-то признали, в родню приняли... Еду, посиживаю, думаю, предполагаю...

Женщину высадили в нужном ей месте, а писатель отчего-то с нами. Квартиру, конечно, представляла я себе не такой, но хоть такая есть, и слава Богу! Зато место, где она находится, красивейшее, жаль только, что мне всюду, где бы мы ни жили, больше-то приходилось быть в квартире, в ней проходила большая часть моего времени, моей жизни...

Витя чай поставил греть, поскольку приехали утром, хлеба нарезал, колбасы, сахар на столе — вот, мол, располагайся, присаживайся, чувствуй себя как дома. Давай покажу, где тут что, пока чай греется. Показал, где его кабинет, где гостиная, туалет, ванная, «а там будет твоя комнатка...» Все, говорю, очень хоро-

шо, а когда еще маленько порядок наведем... Все, Витенька, будет хорошо... — храбрюсь, как могу, вот контейнеры придут...

— А ты, матушка, уж не догадалась консервов-то вложить — получала же пайку обкомовскую.

— Я сама не съела, часть, понемногу, что скопила, Иринке оставила — дети же у нее, немного Андрею дала, немного совсем — они и продукты-то покупают на день, поскольку не знают, где завтра жить будут... Но почти все банки вон в тех двух чемоданах, да один идет в контейнере...

Витя посмотрел на меня с недоверием, раскидал коробки с неразобранными вещами, сказал, что в одной банке, в которой гречка была, ты в нее рюмки сложила, разбились те рюмочки, приказали долго жить, как и крупа...

— Ви-итя! Ну зачем ты так? Я же хотела, как лучше, все укладывала, чтоб плотно... Бог с ними, с рюмками... Другие купим. А сегодня-то найдется из чего выпить? За встречу-то вроде полагается...

Витя высвободил чемодан из-под коробок и мешков, открыл: там и мясные консервы, и сельдь тихоокеанская, и нельма в собственном соку, и горошек зеленый, и перец фаршированный — все, что небьющееся...

— Откуда мне было знать? Люди добрые в чемоданах одежду хранят, белье, а ты...

Я встала, накинула плащ и направилась на улицу.

— Пока чай кипит... пока ты кипишь... Пойду, посмотрю... на Енисей, подумаю, погляжу... — и ушла. Не успела выйти из подъезда, навстречу идет такая милая женщина, улыбаясь, плотненькая, с ямочками на щеках. Приостановилась, поглядела на меня и удивилась:

— А вы случайно не Мария Семеновна? Жена Виктора Петровича Астафьева? Он должен был вас сегодня встречать? — Я поздоровалась, тоже с улыбкой, сказала, что это я самая. — Ой, как приятно! — Обняла она меня, как старую знакомую. — Ой, как хорошо, что вы приехали! А мы — ваши соседи, нижние, меня зовут Наташей, муж Толя, но он на работе... Мы обязательно придем к вам познакомиться. Обязательно!.. — Еще раз обняла меня и пошла к себе домой.

А я пошла как бы к Енисею, а на самом деле — куда глаза глядят. Красивая стояла осень. Вода в Енисее посинела, листья пожелтели, и, казалось, прикоснись к ним — тепло почувствуешь. А сосны могучие. В березах желтые пряди... Об Урале подумалось — такие там ярко-красивые осени бывают, и небо непременно почти синее, а... Я закусила губы, чтоб не разреветься, от пустяка вроде бы — тем более не надо. Одуванчики не все еще обдуло, но легкий пушок уж с проплешинками. Тихо, спокойно,

вода большая катит себе на север... Вот так бы еще и в душе... Может, думаю, выяснить нам с Витей сразу наши отношения да и не ждать... Ну, ночевать-то все равно останусь. Куда ж я на ночь глядя? И вообще, куда? Я же сюда приехала, к нему... Не знаю, сколько времени прошло, пришел Витя, слышу, постоял за спиной, потом подхватил меня сзади под мышки, развернул как бы и глухо сказал:

— Пойдем домой. Еще насмотришься... Потом погуляем, покажу, расскажу все... Пошли.

В кухне стоял маленький складной столик, который я посылающей еще отправляла, но в дороге то ли угол в него какой уперся, то ли что — трещина появилась, и не малая, дюжить он не будет.

— Значит, вышить за встречу полагается? — посмотрел на меня, достал откуда-то неполную бутылку водки, разлил, чокнулся своей рюмкой о мою и выпил. А я пока чего-то медлила, тогда он себе налил еще, сказал, что любит две подряд, а там будет как будет, снова чокнулся и задержал руку. — А ты чего?

— С приездом, Маня! — сказала я. — Будь здорова, тут тебе не какой-нибудь Урал, тут — Сибирь!..

Попили чаю, я убрала со стола, вымыла чашки, блюдца, ложки и не знала, чем заняться, не то помаленьку коробки разбирать и чего в кухню, чего по местам... Боялась, что Витя встанет и уйдет из дома, и, чтоб этого не случилось прямо сейчас, подошла к нему и сказала:

— Витя! Я ехала сюда, к тебе, к мужу, и хотела бы знать, как ты к этому относишься? Я к тебе ехала, Витя! Ты писал и, когда звонил, говорил, что ждешь писем и меня... А сегодня?..

Ушли как бы в его кабинет, где стоял Андрейкин диван, в моей комнатке стоял диван школьного, вологодского еще набора. Витя сел на диван, я на табуретку, помолчали, и тут Витя заговорил:

— Я действительно ждал тебя, очень ждал... А радости встречи не вышло. Я тебя обидел, хотя и не хотел этого. Я не знал, как ты решишь — приедешь или нет после того, как я на собрании тогда, в Вологде... Не знал и не знаю: только повидаться или останешься? Мне очень трудно! Тут друзей по выпивке много, скучать не давали, а вот... Я ведь даже работать еще по-настоящему не принимался, так, пустяки какие-то, рукописи графоманские читал, а настроить на работу себя не мог. — Витя утер выступившие слезы, тронул меня за плечо. — Прости, если можешь... Я пойду... мне надо побыть одному, подумать, а ты тут...

И только закрылась за ним дверь, я принялась за дело, за коробки — я на них делала «условные знаки», что где. Коробки с посудой сразу же перетаскивала в кухню. Дошла до белья.

В коридоре были сбиты шкафы фанерные — наподобие стенки, и в них отделения. Одно — с полками — определила под

постельное белье, другое — для личного, я не сразу об этом догадалась и, протерев начисто полки, все стала определять по местам. Обувь — в нижние, шторы повесила на дверь, чтоб потом выгладить и повесить на окна... В кухне тоже было подобие шкафов, я там что-то в плиту, что-то в шкафчики — временно. Застелила себе постель на маленьком диване, у Вити белье на постели было еще чистое...

Вити не было долго, и я успела устать, разбираясь с вещами. Освободившиеся коробки расплющила и унесла в ванную, сложила стопкой в углу, накрыла старенькой скатертью и изобразила что-то вроде тумбочки. Не знала, закрывать — не закрывать дверь, есть ли у Вити ключи, потом приняла душ, отмыла с мочалкой руки, ноги, надела ночнушку, халат, приготовилась еще попить чаю да и ложиться спать: когда Витя придет — не знаю, искать его, наверное, дело бесполезное да и не очень приличное. Только под села к столу, пришел Витя. Я пожала плечами, что ждала, да не дождалась и решила пить чай в одиночестве...

— Я тоже с тобой попою. — Пока мыл руки, раздевался, говорил, что долго ходил по берегу. — Люблю смотреть на Енисей. — Подсел к столу и сказал, что я зря время не теряю, пожалуй, мы завтра или послезавтра съездим в Овсянку. Там ведь знают, что ты вот-вот приедешь... ждут.

Когда приехали с Виктором Петровичем в деревню, радости встречи с Витиными родственниками я не пережила, хотя и была к этому готова. Но... доброе слово и кошке приятно, а я первое, что услышала: «Как ты, Марья, постарела! Прямо едва и узнать можно...» А вторая тетка спросила, которая я у Виктора жена? Тут уж я не сдержалась и сказала, чтоб об этом она у него спросила...

На первых порах, когда надо было стирать: у одной возьму бачок, у другой — ванну. И когда все приготовлю, они сядут рядком и наблюдают — если отжимаю слабо, тут и слышу: «Руки-то отсохли ладом-то жать...» Тогда следующее отжимаю так, что скрипит, и опять слышу: «Мужик много зарабатывает, не жалко, пускай рвется».

Тогда я, улучив момент, перевезла стиральную машину в город, грязное белье — в рюкзаки. Ночь моя, одно развешиваю, другое стирается, утром выглажу и привезу в деревню чистое белье. Чего ж машине без пользы стоять? В мебельном магазине удалось купить чешские книжные полки. Я купила их много, думаю, лишние не будут. Алеша — двоюродный брат Виктора Петровича — встретил меня, сказал или спросил, я его не очень понимаю, как, мол, живу? Хорошо, говорю, живу, было бы еще лучше, если бы ты денька на два приехал в город — дело есть, а Вите некогда, а я не умею... «Хорошо!» — сказал мне Алеша, по-

думал и спросил, когда я поеду в город? Я сказала, что сегодня. Он опять: «Хорошо!»

И мы поехали с ним вместе. Пообедали — и за дело. А у меня уж все сантиметром вымерено, что куда, сколько. И в полтора дня полки были готовы, а как составлять книги — куда какие — решил Витя, зачин, как говорится, сделает, а я уж себя ждать не заставляю... А вот напечатать успела мало, но завтра закончу.

Теперь, решила я про себя, всякую мужицкую работу пусть Витя делает сам. Так-то оно так, да куда от работы денешься, и есть ли время разбираться? Как-то при нем в полушутку, в полусерьез при ком-то сказала, что писатель в доме есть, да вот мужика нету... Обиделся Витя. Да и я никогда не забуду, как он, бедный, строил в Чусовом домик — жилье для семьи, когда еще пьян-чужкой проходившие нет-нет да и назовут его, потому что он: если дело ладится — поет, а не ладится — матерится... Да и кто его в детстве всему этому научил бы? Но ведь жизнь есть жизнь.

Однажды собралась на стену часы прибить, он увидел, спросил, чего делать собираюсь, и сказал, мол, чего мужика-то в доме, и правда, нет? Есть, говорю. Тогда куда таращишься? Часы прибивать. Где стремянка? Принесла. Где гвоздь? Принесла. Где молоток? Принесла. Давай часы — дала. Вбил Витя гвоздь, повесил часы, слез со стремянки, сказал, что хорошо, прибил вот, руки отряхнул и ушел. А я стремянку на место, молоток на место...

Вскоре после того, как я сюда приехала, а Виктор Петрович был в райкоме — по поводу покупки машины «Волги», — бумагу подписали и передали торговому начальнику для исполнения. А начальник тот сказал, что пока не познакомлюсь с тем писателем, которому «Волга» нужна, — машину не продам! Сказал вроде и в шутку, и всерьез. Виктор Петрович, как я потом поняла, сказал, мол, ладно, днями приезжает Марья Семеновна, вот с ней и приедем.

И пришли — не в кабинет, а в гости — к Деевым Зинаиде Иосифовне и Виктору Леонтьевичу. И прогостили весь день. А потом и подружались — такие замечательные люди опять повстречались нам в жизни, оба поют, оба музицируют, оба много читают, гостеприимны — встречали нас как давних дорогих гостей. Вот Виктора Леонтьевича уж и в живых нет, а память о нем светла и незабвенна. А с Зинаидой Иосифовной мы и до сих пор души в друг друга не чаем, да видимся редко — все какие-нибудь причины, даже транспорт и тот плохо ходит, а живем друг от друга далеко... А уж как они помогли нам в начале здешней жизни! Век благодарить будем, с покупкой машины вопрос был решен.

И позже начальник торговли не унимался, все повторял: «Ну какие вы странные и скромные люди! Ничего-то вам не надо! Так не бывает!» И мы не один раз, естественно, но через него ку-

пили югославскую портативную печатную машинку. Позже приобрели японский «Шарп», купили постельное белье, махровые полотенца, обувь, мебель и многое другое — нам же предстояло заново в основном обустраиваться. А он и после не раз говорил, мол, забыть не могу вашу упрямую скромность, меня же, говорит, на улице хватают, а вас уговаривать надо. Я, говорит, сам вот приеду, погляжу, как живет наш земляк и знаменитый писатель, и прямо заставлю вас покупать необходимое... готовы только деньги... И верно: ему — не убыток, а нам не достать.

Жизнь наша помаленьку уравнивается, медленно, но уходят «мелочи жизни». Чего говорить, много было всего и всякого, даже более чем, и мне иногда приходило на ум бросить все: и Сибирь эту, и родню многочисленную вместе с Виктором Петровичем, посыпать голову пеплом, как говорится, сжечь мосты да и двинуть... Но какие уж теперь мосты? И куда двинуть?.. Квартиру сдала, у Ирины своя жизнь да и дети, а у Андрея пока и жилья нет, все пока на птичьих правах...

Новый год встречали в гостях, в компании милых, но незнакомых мне людей, и это новогоднее гостевание было для меня грустным. После встречи Нового года по красноярскому времени Виктор Петрович затяжелел и сказал, что пора домой. Ну, пора так пора. Дома выпили по фужеру шампанского, и он ушел спать, а я, пока были по телевидению новогодние передачи, сидела, смотрела, слушала, помаленьку отпивая из фужера. Я, вообще-то, люблю это время на стыке лет и стараюсь поблагодарить тех, кто мне сделал добро или подарил радость, желаю всем им здоровья, думаю-вспоминаю о том, что было, о чем-то сожалею, что все уже в прошлом, чему-то рада оттого, что прошло и у меня хватило сил и терпения, здоровья и самоотверженности пережить, думала о том, что и как будет у нас и у детей. Думала о теперешней жизни, то, что иногда я в деревне, иногда в городе, особенно летом, — такая жизнь меня устраивает, хотя летний деревенский климат иногда как метастазы просачивается и в городскую жизнь, и тогда я говорю себе: «Маня, потерпи». Родня Виктора Петровича теперь со мной во многом считается, тетки не указывают, пьяницы лишний раз не заходят... Дорогой ценой мне это досталось, но то, что мы по-прежнему вместе, — это главное, это дороже дорогого. Нам надо быть вместе. Мы нужны друг другу, а впереди, если доживем, старость — тоже не радость...

Праздничные передачи по телевизору кончились. Я долила в фужер шампанского, ушла в кухню, постелила перед собой салфеточку, поставила фужер и бутылку с шампанским — кто знает, вдруг захочется еще, — коробку с оставшимися конфетами, стала отпивать помаленьку, прямо по ложечку шикарный этот

напиток, который в новогоднюю ночь бывает по-особенному приятен, и стала думать о Гале — двоюродной сестре Виктора Петровича, хотела представить, где, с кем она встречает этот новогодний праздник. Не перестаю ею восхищаться — такой она милый, добрый, чуткий и уж не знаю, как еще и сказать, человек. И я часто думаю, как бы мне здесь жилось в такой далекой дали, не будь ее. Она всегда может понять, всегда помочь, поддержать словом... Дивный человек — наша Галя, и жаль, что у нее жизнь сложилась, увы, не лучшим образом, растит сыночка, мастерица на все руки. Тут же вспомнилась открытка — новогоднее поздравление от свердловского поэта Жени Фейерабенда. Виктор Петрович как раз лежал с обострением пневмонии, болел тяжело, а Женя писал: «Виктор, быстрее выбирайся из больницы неволи, и желаю скорей встать на ноги. Никто из друзей не пожелает этого тебе столь искренне, как я, ведь десятиго ноября исполнилось двадцать девять лет моего лежания...»

Пожалела свою старшую сестру, с которой мы всегда дружно жили, у которой был такой веселый нрав и выпала такая трагичная жизнь — жизнь мученицы... Ох, Господи! Кто бы изменил гласные и негласные эти наши бабьи муки?! Нет такой меры, не придумали люди, да и зачем? А многим мужикам и в голову не придет подумать об этом... Ох, что-то я в новогоднюю ночь вовсе скисла — начала хорошо, да и не заметила, как свернула на тоску-кручину... Попила уже выдохшегося, но все равно приятного шампанского и стала смотреть в окно.

А там!.. Народу! Молодые, дети, как говорится, млад и стар... Бегают, смеются, ряженные нет-нет — да промелькнут, в снегу валяются, целуются, а снег-то белый-белый, то сине-голубой — когда месяц скроется... И в моей душе что-то трепыхнулось, взбодрилось, потом печаль накатила — все уже в прошлом...

Вспомнилось, как в Быковке, кажется, уж в последний раз, ходили с Витей на охоту, и он увидел рябка и показал мне на него молча, тихо велел идти вперед и спугнуть его — на Витю. Я кивнула, что поняла, иду, смотрю по вершинкам деревьев — рябчика пытаюсь взглядом отыскать. Не увидела. Запнулась. Упала. И рябчик перепутанный полетел не в сторону охотника, а совсем даже в другую... А то как он рассказывал, как сидел возле озера, караулил чучела, долго, говорит, сидел. Вдруг прилетел чирок, молоденький и до того красивый, что невозможно не залюбоваться. А он — весь трепет, весь любовь и песня... Смотрел, смотрел, а ружье поднять не смог. Сентиментален, говорит, становлюсь.

\*\*\*

Витя засобирался на рыбалку в Туву. Я тоже собралась уж было, но когда стали собирать вещмешки, он позвонил кому-то

из компании, чтоб узнать, что там предполагается и как, и сказал, когда пили вечером чай:

— Тебе не нужно ехать с нами. Компания большая, все мужики. И дорога, оказывается, совсем не простая: сначала на самолете, затем где-то, откуда-то, вернее, на вертолете, а там должны подойти машины... И все мужичье, две бабы, курящие, и жены они «вне закона» — не уверен, что тебе будет легко и приятно. Я же весь изведусь...

На том и порешили. Удалось дозвониться до Иринки — она болела, а у меня о ней душа болит постоянно, и я часто думаю о ней, о взрослой уже, как она не выстраивает по-серьезному свою жизнь, иногда такое выкинет, что диву даешься, а иногда — хоть веревки из нее вей, и терпелива, и ласкова... И я снова беру вину на себя, потому что слишком много пережила всего и всякого, когда была ею беременна, когда надобно больше покоя, радости, ласки, внимания, ведь это передается ребенку. Вот и передалось. Додумаюсь иногда до такого, что хоть в ноги ей падай да прощенья вымаливай.

Жизнь у нее не заладилась, да она и перед этим, как говорится, предостаточно «наломала дров» и теперь за что-то расплачивается, чего-то в наследство приняла, чего-то в себе «не воспитала», хотя то, чего я имею в виду, куда глубже и серьезней...

Говорит, что себя чувствует уже лучше, что Витенька здоров и ходит в садик. А я несколько ночей кряду видела один и тот же сон, один и тот же! Будто она в своей или не в своей квартире, похудевшая, стройная, озабоченная, что-то в себе затаившая. Всюду кровати, кровати, раскладушки, и на них спят, на чистых белых простынях, девочки и мальчики какие-то — ребята-школьники, даже несколько взрослых женщин. Она их оглядывает, кого укроет, кого погладит. А я все пытаюсь спросить, что все это значит? А спрашиваю только одно: «Где Витенька?» А она: «Я его отправила с ребятами в Геленджик, в поход, пусть там побудет, пусть побродит...» С тем и просыпалась. И душа моя опять трепыхалась в тревоге.

Вот в Ижевск сначала собиралась так охотно, с нетерпением, планы строила, а потом заявила, уливаясь слезами, мол, вы и рады, что сбыли меня из дому...

\*\*\*

Скоро должен приехать кинорежиссер с Киевской студии со съемочной группой — будут снимать фильм «Ненаглядный мой» по рассказу «Тревожный сон». Будут сначала уточнять, где жить, где снимать, где и чем питаться, еще раз сверят натуру. Виктор Петрович рвется в деревню. Я помалкиваю, но если будет тепло и если он будет настаивать — поеду и я.

Очень скучаю о внуках, больше чем о ребятах. Вон у Витеньки скоро «юбилей»! А Полинку даже во сне вижу и что странно, то вижу малюсенькой, какой привезли из больницы, то уж на ножках, веселую, бегающую и уж лопочущую чего-то.

Часто и тревожно думаю об Ирине — как она там с ними? Устает, не высыпается, долго ли выдержит?... Главное, была бы здорова. Ирина подарила нам внучку Полиночку — имя придумал дедушка, Витек сопротивлялся, хотел, чтоб была Машенька, и пока, кроме как «сестричка», никак не называл, хотя и не видел ее еще в глаза — она ж с мамой в больнице. Иринка говорит, что чувствует себя почти нормально, но как можно чувствовать себя после такой операции? Прямо как бедному Ванюшке. Девочка родилась весом 3.400, ростик 54 см. В этом смысле все вроде нормально. Как мне врач сказала: «Поздравляю вас с внученькой! Носик, ротик, глазки, ушки — все на месте, ручки, ножки — тоже, милая девочка». Ирина трудно приходила в себя после наркоза, а теперь вот пропадает молочко — лекарствами разрушили формулу молока.

Виктор Петрович отдал последнюю часть рукописи — завтра же сяду печатать, а самому ему что-то все не можется, хотя держится из последних, как говорится, сил, садится за стол, то письма пишет, то вот рукопись правил. Он боится, не хочет, чтоб был в работе перерыв, после перерыва всегда трудно входит в рабочий настрой. Иногда стараюсь по мере возможного, помогаю ему: у меня в столе всегда есть что печатать, что срочное — перепечатаваю, а что может ждать — лежит в столе, ждет. А Виктор Петрович очень любит читать с машинки, иногда ждет прямо с нетерпением. Тогда я и принимаюсь за перепечатку лежавших рукописей. Виктор Петрович сначала подойдет, глянет, чего печатаю, и уйдет, иногда присядет, иногда то, что напечатано, возьмет к себе, положит на стол... И иногда дело налаживается таким образом.

Поговорили, что печатают журналы, что вон все письма пишут, просят чего-нибудь дать... Какой-то полупустой период журналы многие переживают.

Однажды пришел Виктор Петрович из магазина, где отоваривают инвалидов войны. Он и ходил-то туда первый раз. И рассказывает, как долго искали и совещались, какой же номер мне присвоить. Дали, говорит, тридцатый. Кто-то из инвалидов ушел в мир иной, и я занял его место, а потом кто-то займет мое. Мне не по себе стало от этого, но смолчала, опровергать бессмысленно, соглашаться — жутко.

Иринку с детьми повезла в Вологду, когда девочке пошел второй месяц, а Виктор Петрович решил это время пожить в профилактории, там и питание готовое, и лечение какое-ника-

кое, и комнатка, где можно и поработать, если потянет к столу. Хотя Виктор Петрович редко где может работать спокойно и плодотворно — кроме как дома или в деревне. Но пока он в этот профилактический собирался или приходил попроведать, как тут же являлись друзья — пообщаться, в основном выпить — нет ни хозяйки, и жены — не видит... И все дело только усложнилось, ладно, что крайней бедой не кончилось, и потому я, по сообщению здешнего врача, срочно вернулась, оставив Ирину с детьми и с делами, которых всегда не впрокорот, да ладно хоть дома, ладно хоть подруги-приятельницы есть, помогали, когда могли.

Виктор Петрович болел тогда долго и тяжело. А в деревне в это время заболела тетка Апронья, и я то к Вите, то туда съезжу, попроведаю, кое-что увезу. Приеду, причешу ее, чаем напою, и она принимается расспрашивать:

— Маша, как там Витя-то?

— Да уж получше, слава Богу.

— Ну, хорошо. — Помолчит и опять за свое: — Как там Витя-то?

Раз пять-шесть спросит, и я однажды ей сказала:

— А про меня? Ты все про Витю, да про Витю спрашиваешь! Хоть бы про меня че спросила.

— А тебе-то какой лешак сделается?

Витя снисходительно рассмеялся. Между делом запаковывала бандероли или посылки с книгами — для Андрея и для Ирины, — посылала, что выходило у отца, что и где говорилось о нем — чтоб знали, иначе-то откуда узнают.

Вечером позвонила Иринка, сказала, что добралась хорошо и дома все нормально. Я не успела даже подумать: «Слава Богу!» — она, помолчав, сказала, что заболели Андрей и Полинка — видать, «хватили» от Витеньки. Они больны, а я боялась, чтоб не слегла и она, пообещала позвонить завтра, но звонка не было ни завтра, ни послезавтра. Виктору Петровичу пока ничего не говорю, только радуюсь, что ему уже получше. Наконец-то Ирина дозвонилась — была повреждена линия, и она дозвонилась уж из управления связи. Управляющий — муж моей подруги — сказал, на будущее, мол, уж если что...

Пока Витя в больнице, а мне все равно не спится-не ложится, я по-прежнему мотаюсь в деревню и обратно, то начала ремонтировать квартиру, благо, что все от клея до обоев было заготовлено. Что подильно одной: клеить короткие полосы обоев, освобождать место для вечерних работ, когда придут наши близкие знакомые помогать; делаю заготовки на еду, чтоб работников-помощников покормить; кое-что в деревню переправила на первых порах, мне еще очень помогала с грузовым транспортом родственница Виктора Петровича, Римма Астафьева, по «Пос-

леднему поклону» — жена сына дяди Сороки. И дай ей Бог здоровья, хотя она и по сию пору везет воз на себе. Коля-муж по-прежнему не просыхает, дети хорошие, но Марина то учится, то на каких-то соревнованиях, Сережа то учился в речном, то на все лето уходил в плавание. Она и выписывала машину, а я увезла в деревню старую, Иринкину еще, маленькую и хрупкую стенку, кресло из лосиных рогов, которое куда не вписывалось, а из деревни увезла большой диван и два к нему кресла, обтянутые темно-зеленым бархатом. Купила — опять же Виктор Леонтьевич, торговый начальник, настоял — стенку в кухню, милую, светло-зеленую, а в гостиную большую, солидную, деревянную, оказалось, очень современную. Делаю до упаду и на пределе усталости, угощаю скромно, чем Бог послал, друзей-помощников, бутылку на вид. А перед их приходом опять наведуюсь к Вите, утром и вечером. У меня в квартире такие городки, что даже до шкафа с бельем не добраться, чтоб платье другое достать. Приду, посидим, поговорим, почту принесу, он посмотрит на меня, особенно на руки да на «подтекшие» глаза и спросит:

— Плохо спала?

— Да собаки лаяли...

На другой день тот же у меня вид и, естественно, тот же вопрос:

— Плохо спала?

— Да зуб ныл...

Днем работаю в одиночестве, вечером — друзья-помощники. И как закончат, что намечено на сегодня, я их благодарю, прошу к столу и уговариваю выпить — за успех. Одна знакомая и говорит мне:

— Ну вы, Мария Семеновна, и заводная!

Это значит, выпить здорова. Я отшучиваюсь, что привыкла, радуюсь, что могу. Все смеются. А нас и всех-то: Володя с Эммой да Нина, да я. Алеша да шофер собрали стенку. Я повесила новые шторы, купленные в Вологде еще, под обои, и когда все, почти все, но главное встало по местам, зашел наведаться Виктор Петрович, мол, пошел погулять — отпустили врачи — и дай, думаю, зайду погляжу и маленько отдохну, поднявшись на четвертый этаж. У меня «чувства борются», как сказал поэт Рубцов, только чуть иначе и по другому поводу. Жду, трепещу: рада, что Витя домой вот хоть на побывку, да пришел, а что скажет, когда все увидит? Он же обратил внимание на кухонную стенку и сказал, что хорошо, славно. Когда лег на диван, тогда и удивился, мол, а это-то как здесь оказалось?!

— Да вот. Там тесновато, и на зиму, — говорю, — все равно такую мебель в нетопленном помещении оставлять нельзя — заплесневеет.

Виктор Петрович поверил на слово, а потом Галя подтвердила. Когда разглядел деревянную современную стенку с расставленной в ней уже посудой и всем прочим, с недоумением спросил: «Ну а этот-то гроб зачем сюда? Плахи деревянные. Их на дрова, а ты в комнату...» Не понравилась ему стенка, но все воспринял и принял как действие и результат — нормально, хотя с тем, что «собаки лаяли» и «зубы ныли» — никак не увязал.

С наступлением теплых дней — приближалась Пасха, когда Виктор Петрович уже не рисковал быть вдали от врачей, поехали в Овсянку. Он то посидит, то полежит. У меня и там дела. Сходили на кладбище, погоревали, повспоминали, затем вышли на край, где круто начинается ров, постояли, послушали, как ручей в глубине побулькивает, как за линией по шоссе с шипом и тормозными скрипами туда-сюда снуют машины, а электрички и иные поезда ходят не часто. Я и говорю, что бабушка Катерина Петровна, наверное, и думать не думала, что будет покоиться — лежать под такой шум, лязг и грохот... Витя грустно, но и со светлой печалью, с которой всегда вспоминает — говорит о бабушке, сказал, что столько лет то с котомками по горам — когда надо было в город и из города, то по реке на самодельном салике, где шестом напрягается, когда идет вверх, к деревне, а когда в город, то устроится на плотике, подол подоткнет, котомки поправит, перекрестится и отчалит...

Поговорили еще и вернулись домой. Витя лег на кровать в маленькой комнатке, я ушла в комнату рядом, взяла вязку, смотрю телепередачи, убавив звук, думала, что он задремал, может, и уснул. И вдруг он позвал меня. Иду встревоженная, думаю, хуже себя почувствовал. А он похлопал по одеялу на кровати, мол, посиди, и спросил:

— Очень охота на Урал-то, на родину?

— Очень, — призналась я, — прямо до сердечной тоски. Мне ведь там только побывать, посмотреть, походить, повспоминать. Там ведь я выросла, там училась, там пережила муки и радости, там могилы...

— Все понимаю. Потерпи маленько, и съездим вместе. Мне тоже охота туда съездить.

Очень ждем в гости Иринку с детьми. В Москве-то встретят и проведут, если ничего не случится, а тут уж... Чтоб высвободить время, пока они будут здесь, много напряженно печатала роман, чтоб с этим делом закончить. Но в этот раз все было нелегко, и мне не раз хотелось отложить рукопись, не думать о ней, не переживать то, что там меня не просто огорчало, а ввергало в горькое недоумение: «За что же меня так? И вообще, можно ли так?» И пришла к печальному итогу: немного же я заслужила за тридцать девять лет! Вот вчера был день смерти моей мамы, задумывалась

над тем, чтоб как-то вместе с Витей помянуть ее добрым словом да рюмочкой вина. Переживала из-за этого потому, что Виктор Петрович, описывая нашу послевоенную жизнь, жестоко и бескомпромиссно отчего-то ставил в вину маме все то тяжелое время, которое изнурительно, с большим напряжением мы пережили. Он знал, что я это буду печатать и как-то, естественно, среагирую... Но пока всяк по-своему молчаливо обходили эту боль. Я знала, что рано или поздно у нас состоится по этому поводу тяжелый разговор, думала и заранее страдала, переживала время, пока здесь Иринка. Просила Виктора Петровича об одном, чтоб он, пока рукопись «сырая», никому бы ее не читал. Однако же при Ирине еще приехали режиссер будущего фильма с директором картины, значит, были и «перегрузки», и часто все было на острие, я молчала, замкнулась в себе, только чтоб Виктор Петрович не сорвался при дочери, — она не для этого ехала в такую даль. Виктор Петрович все же не удержался, стал читать им рукопись, и, когда они собрались уходить, решительно, даже сама испугалась, сказала Вите, чтоб он снял с рукописи мою фамилию, и сказала главное: что мама нас пятерых провожала на войну, а не в тюрьму, что за мной больших грехов не числится и стыдиться мне своего прошлого оснований нет. Грешна, конечно, вольно или невольно, но не больше других, и что мама моя не виновата в том, что наша послевоенная жизнь была столь изнурительна, ведь и из здешней родни никто ни словом, ни делом не догадался помочь... Сказал, что его нечего учить, как и о чем писать, что не станет изображать нашу жизнь веселой и счастливой...

После этого была продолжительная «минута молчания», с Иринкой мы об этом не заговаривали, время шло, и мы вместе поехали провожать Ирину с детьми до Москвы. Ирина там побегала по магазинам, кое-что купила из еды, и поехали вечером на вокзал.

А пока Ирина погостила у нас здесь. Полинка вела себя чудесно, и Виктор Петрович вообще бредит ею и всем рассказывает, какая она славная, смышленная, чудесная, однако с норовом, с характером уже, и вообще, девица ахти-современная, мол, Витенька, конечно подбалован был в ее возрасте, с рук на руки переходил, а эта сама себе жизнь организует: что надо — требует, куда хочет — идет, что хочет — делает, но ко всем с улыбкой.

В Москве после отъезда Ирины побывали на юбилее «Смены», затем в гостях у редактора журнала Альберта Лиханова — загостились до утра. Днем я запаковывала лишнее в посылку и отправила, а вечером были в гостях у Юрия Марковича Нагибина. Ну, он и рассказчик! Ну, и интересный человек! Ведь не первый раз видела его, не первый раз слушала, но радостно удивлялась всякий раз.

Весь другой день провели у тети Таси. Виктор Петрович после обеда, как всегда у нее, уснул, а мы наговорились от души и поздним вечером вернулись в Москву.

Утром другого дня, уже ближе к обеду, мы поехали на студию документальных фильмов, и там показали весь отснятый материал о Константине Михайловиче Симонове. Затем приехал Михаил Александрович Ульянов и снимали их с Виктором Петровичем — Ульянов задавал вопросы Вите, когда, где и как он познакомился с творчеством Симонова и о личном знакомстве. Затем поехали в театр имени Вахтангова: там, двумя рядами ближе к сцене, в тот вечер сидел Константин Михайлович, где его Виктор Петрович увидел вживе. И, видать, так пристально смотрел на него, что тот почувствовал взгляд и обернулся. И Виктор Петрович увидел, какой он больной и усталый человек, и после долго не мог сосредоточить свое внимание на сцене, все смотрел на затылок Константина Михайловича и думал, и волновался, и воображение работало... Вот об этом их снимали дальше, для второй серии: опять Михаил Александрович Ульянов задавал вопросы, а Виктор Петрович отвечал. После съемок еще немножко поговорили, и Виктор Петрович воспользовался возможностью — раздумчиво говорил о современных, может быть, и всегда существовавших, но по-иному, проблемах житейских. Говорил о том, что если живы дед и бабка — будут нести семейное бремя, — слово-то какое точное!

— Вот мой зять мне как-то бодренько сказал: «Как вы живете, папа, — живут единицы, как я живу — живут миллионы», — а ведь рабочий, дорожник, и гляди, как политически подкован, — не зря боролись за всеобщее образование, и они, образованные, хотят вольно пить, валяться в вытрезвителях, поднимать кулаки на жену за то, что она его, мужа, кормит, поит и ублажает, да еще чтоб на работе ничего не делать, спать в вагончике с похмелью, но чтоб зарплата вместе с прогрессивкой выплачивалась регулярно.

Посмотрел я «Частную жизнь», но как-то не в «подходящий момент» посмотрел, что ли. Случилось так, что смотрел я эту самую «жизнь» после «Амаркорда» Феллини, такой ли выверенной и «точной» показалась мне эта самая «жизнь», после разудалого, хулиганистого и воистину гениального итальянца.

Первый раз видел вас в неестественном каком-то гриме, в замедленном движении, в пригашенном темпераменте. Словно вожжи сзади вас были и вас поворачивали то налево, то направо, даже паузы, даже молчанье, может быть, и хорошо сыгранные, за что вас и хвалят, — мне же казались неестественными. Вполне, может быть, тут виноват и «Ричард» — по телевизору он показался мне даже лучше, чем в самом театре. Я сидел ко-

гда-то в театре далеко и «крупных планов» не видел. И все же более всего и ближе всего мне бывший солдат из «Последнего побега» — вот тут все гуманно, все естественно и неистово до крайности! То была ваша роль!

После съемки Михаил Александрович вернулся на репетицию, а мы поехали на студию, и нам показали фильм «Дважды рожденный» по сценарию «Не убий», который был уже напечатан в журнале «Искусство кино». На мой взгляд, фильм получился по-настоящему серьезный, такого я, например, вроде бы еще и не видела.

Один раз побывали в театре на Малой Бронной и посмотрели отличный спектакль «Весельчаки», где играли двое: А. Дуров и Л. Каневский. После спектакля нагостились у Левы Дурова, поздним вечером он доставил нас к нашим неизменным друзьям Капустиным, откуда на другой день мы отбыли в Красноярск. Вспоминаю эту поездку как удивительный праздник. Спасибо Вите!

Дома, как правило, первые дни сражались со скопившимися делами. Хожу ходуном, чтоб разделаться с неотложными делами и сесть за машинку. Иногда думаю, что не я одна: и врачи, и ученые — все, оказывается, бывают в запарке, пусть и временной, но никто, ни один ученый, ни врач, ни обыкновенный смертный, не могут сказать — куда спешим? Зачем? Все равно придем к одному концу — будь хоть семи пядей во лбу... Мне что-то часто нежится — вот поездка отвлекла, и будто действие наркотика кончилось. Надо бы в больницу, но пока терпимо, не хочу терзать себя излишними открытиями дефектов в своем здоровье. Не знаю, как лучше? Не приемлю, не отвергаю, все тешу себя надеждой: может, обойдется. Вчера расшифровали снимок моей больной уж много лет ноги — и мне бы впору «белутой выть», но у нас гости, и я поддерживаю веселье компании, спую на кухню и обратно, а мне строго рекомендована тросточка! Иначе дело — табак! Кабы знать, сколько мне жить определено, так бы, может, и поступала соответственно, но я однажды поклялась себе — на всю жизнь — не думать о НЕИ, не говорить, не жаловаться, и вот из кожи лезу... Ведь всякий раз, когда возвращаюсь домой после долгого, да и не очень долгого, отсутствия, так много скапливается дел, такое окружение забот и тревог, и тревожных предчувствий, что и хватаешься за дела, и ворочаешь их с утра до ночи, чтоб только заглушить в себе тревогу...

А Виктор Петрович снова чувствует себя плохо, и когда я напомнила о барокамере, давно ему и очень рекомендованной, он отказался наотрез и сказал, мол, чего ты вообще разводишь такую шумиху? Оставь меня в покое...

А юбилей приближается стремительно, 60-летие — не очень веселое событие, когда раны болят не только к ненастью, когда

контуженная голова не перестает болеть и исподволь, постоянно и изнуриительно напоминает ему все «издержки», все напряжение, которое, естественно, связано с работой в течение столь многих лет, не щадя здоровья, силы, а они же не бесконечны, и усталость безмерна, но он, Виктор Петрович, и по сию пору утверждает, что при такой жизни, при такой обстановке остается только работать, иначе недолго и с ума сойти... Господи! Помилуй его! Спаси и помилуй! Не о себе молю, а о муже своим дорогим!

И все-таки решает, что на это время (на юбилейное), когда теперь уж дверь не закрывается: и журналисты, и интервьюеры, и киношники, и телевизионщики — все, кому не лень, но всем чего-то надо, — «будто до этого я дурака валял, не работал, и вот только в эти дни создал «шедевры» — мы уедем.

Маршрут уже продуман, он не короткий: самолетом в Свердловск, где нас встретят, приютят на день-два, чтоб повидаться только с самыми-самыми. Оттуда на «Волге» ехать до Тагила, там на поезде до моего родного города, там родные могилы и могила нашей первой дочки... Я-то знаю, что ничего хорошего и радостного там нас не ждет, но хочется, надо... Надо посетить могилку дочки, покинутую, а мы по сию пору всю жизнь без вины виноватые перед нею.

А накануне Виктор Петрович еще и простыл: уговорили выступить перед выпускниками военного училища, а там сквозняк, потому что снимало телевидение и из-за множества проводов двери не закрывались. Приехали домой, и ему сразу стало плохо. Говорит, мол, если так дело пойдет, то я поехать-то не смогу, а как быть? Я стала утешать, как могла, говорила, что мы уж много поездили, во многих краях и весях побывали. Выздоровеешь, и еще поедем, может, сразу в Вологду, только выздоравливай, и стали мы вспоминать, как ездили в Душанбе.

\*\*\*

В Душанбе нас встретили хорошо. Это уж как бы по второму кругу, потому что когда приехали делегацией, оказалось, накануне умер Мирзо Турсун Заде, и дни литературы пришлось отменить. Тогда Виктор Львович Лысенков, журналист, предложил Виктору Петровичу, мол, в такую даль ехали — туда-сюда — не ради похорон. У нас есть свободная квартира — отец у жены уехал, мы вас оставим у себя, а мы туда, поскольку там осталась собака и надо за ней ухаживать.

На том и порешили. Вечером, собравшись в комнате у поэтессы Тани Стрешневой, не громко, но весело погуляли, а дальше — кто куда.

Виктор Львович на другой же день, утром, когда сели завтракать, стал строить планы масштабно: к кому в гости, к кому

на прием, куда съездить. Виктор Петрович сказал, что так устал от московской суеты, что для начала хотел бы отоспаться.

После обеда разговор пошел по поводу спектакля «Прости меня». Спрашивали, мол, как? Но Виктор Петрович рассказал о двух приятных других случаях, связанных с «Царь-рыбой», что кинофильм получился слабый («Таежная повесть»), а летчики, когда он был на юбилее Игарки, предложили съездить на рыбалку и полетели, точно воспроизводя путь Эли и Акима (по главе «Сон о белых горах»), и все, говорит, посматривали на меня и, наконец, не выдержали, спросили, узнает ли он места?

— Какие?

— Мы пролетели тем путем, каким шли ваши Эля с Акимом.

— А я здесь не бывал...

— Как?! — летчик даже руль выпустил от удивления. — А как же вы писали?!

— Я жил в Игарке, в Курейке, пользовался картой, много слышал рассказов, и просто работало воображение.

А второй случай уже в Красноярске, в Академгородке. Пришел однажды, а у дверей квартиры лежит сверток, в нем несколько сорожек и окуньков. И записка: «Автору «Царь-рыбы» — от рыбака», — очень дорогой подарок.

Вечером ходили в кино, посмотрели посредственный итальянский фильм «600 километров страха». Утром пораньше решили ехать на рыбалку, а расходиться никому не хотелось.

В заповедник приехали под вечер, и наш «главный» сразу же отправился ловить форель. Сварили уху, жарили грибы — это первого-то апреля! Заповедник расположен в очень живописном месте — в ущелье. Горы красивые и разные: одни голые, хотя и не скалистые, другие — в лиловой пене от цветущего миндаля. Гостиница на самом берегу кипящей реки, а в десяти метрах от подножия горы, в вольере, полумычат, полулают олени. В горах совсем близко много волков, кабанов, коз и пока спящих змей. А черепах — видимо-невидимо, много маленьких, но есть такие большие, как опрокинутые корчаги, — они очень агрессивны. Говорили, как здесь жить, среди этих, почти первобытных по разуму людей... «Очень трудно, — отозвался Виктор, хотя он и очень коммуникабельный человек. — Русским надо жить в России». Утром налетел ураганный ветер, затем дождь и снег, и сразу похолодало. Вечером поехали на великоколенный фильм «За спичками», Виктор Петрович, да и мы все нахохотались до слез, и потом Виктор Петрович сожалел только, что хотелось побыть под впечатлением, но сам же всех заговорил своими разговорами.

Были в гостях у композитора Фирузы Бахора, пили, пели, ели, потом слушали музыку, и Виктор Петрович заметил, что, к

сожалению, не всем дано знать, понимать музыку — она не всем доступна.

— А литература всем доступна?

Виктор Петрович сказал, что ему, литератору, у которого есть своя точка зрения и понятия, — она ему понятна. А музыка — он ее любит, знает многие классические произведения, народную музыку. «Но понимаю ли? Чувствую — да!» Он часто думает о том, что в школах и литературу-то часто преподают не во благо, а во вред, отлучают от Гоголя, даже от Пушкина, что произведения, которые ученики проходят по программе, они еще не готовы их понять, такие, как «Мертвые души» и другие, я говорит, после пятидесяти лет стал для себя открывать Гоголя и Достоевского.

Из Москвы провожали Г. Кожухова и А. Петренко, приехал и Вл. Андреев — главный режиссер театра имени Ермоловой, и коль у Андреева с Виктором Петровичем предстоял деловой разговор, супругам Кожуховой и Петренко пришлось остаться.

Владимир Алексеевич Андреев интересовался, как Виктору Петровичу понравился спектакль? И Виктор Петрович сказал, что актеры не тянут, что второй план вообще плох, что любые сокращения, в пьесе особенно, нужно согласовать с автором — он это сделает лучше. Но этим пренебрег А.В. Бородин — режиссер ЦАТ, ставивший спектакль «Прости меня», потому многое либо повисло, либо утратило смысл. В.А. Андреев очень сожалел, что этот спектакль не поставил сам, в своем театре, что у него сейчас есть интересные молодые актеры.

В аэропорту Виктор Петрович подарил Андрееву «Посох памяти». Владимир Алексеевич прослезился, сказав: «Как хорошо, как дорого, что вы, Виктор Петрович, не изменили отношения оттого, что в давнюю пору были разногласия по поводу пьесы, что преданность и дружба сохранились.» На этом распрощались.

— А ты забыла про того мужика с банкой... со змеей, — оживился Витя. — Помнишь, на автобусной остановке?

И стал рассказывать, как мы ехали на машине с Володей Кондуром, — он всматривался в насыпи арбузов и дынь, чтоб купить. И вдруг выскочил из машины и поспешил к автобусной остановке, потолкался там недолго и идет обратно, улыбаясь во весь рот. Рассказывает, что один пьяный мужик держит в руках трехлитровую банку, а в банке — полоз, змея ядовитая. Мужик плохо стоит на ногах, его то и дело заносит. Занесет в одну сторону — и толпа ожидающих автобус врассыпную, подальше от того мужика. Поведет хозяина змеи, загнанной в банку, в другую сторону — люди опять разбегутся... Наконец кто-то спросил мужика, зачем ему та змея? Опасная же смертельно... А он погладил с улыбкой банку и ответил, что это он везет подарок жене на день рождения!..

\*\*\*

Витя еще лежал в больнице, когда приехала Ирина с детьми, и это как-то помогло ему прийти в себя. Он, конечно, раньше выписался из больницы, говорит, устал, дома доделают три оставшихся укола, и поедем в деревню. И уехали. Солнышко греет, внучата на глазах, массаж утром и вечером делаю сама, травы завариваю: попьет, поплюется и через полмесяца, может даже пораньше, стал выходить в огород. То сорняк выдернет — а Ирина в огороде, за Полей присматривает, еду варит, постирушки делает и все прислушивается, чего папа то расскажет, то о чем-то только вспомнит. Тут Иринка забегает в избу — я печатала — вся в слезах и в окно мне незаметно на отца показывает. А тот уж несколько дней кряду выйдет, сядет, цветок сорвет, травку ли и глядит, глядит на Енисей, на леса... И Ирина тут услышала, как он протяжно вздохнул и сказал: «А я ведь уж попрощался с вами, думал — все... А вот одыбываюсь.»

Ирина в тот раз погостила у нас почти два месяца. Потом я ездила их провожать, собиралась только до Москвы, чтоб их в поезд посадить, а самой к тетушке навеститься — и обратно. Да не вышло. Таня тяжело заболела воспалением легких, Андрей в командировке. Определяла ее в больницу, разыскивала да вызывала Андрея, а Женечку уводила в садик сама, а приводили то Таня Володина, то я. Я достала билет на девятое августа, к этому дню Андрей уже приехал, и Тане уже полегчало — все вроде бы стало налаживаться. Приехала домой, и через пять дней пришли документы, что во Францию я все-таки еду — Михалков, как оказалось, дважды звонил красноярскому бдительному начальству, которое не пускало меня, мол, в прошлом году была в Финляндии — капстране, теперь можно только через три года...

И вот побывала я во Франции, одиннадцать дней, более того, свой день рождения двадцать второго августа; шесть дней были в Париже. Жили в отеле в номерах по соседству с Романом Солнцевым, он мне стих сочинил, и я его в конце своего повествования тоже приведу, а в тот день, когда было уже поздно, загулялись по Парижу, утомились и зашли ко мне в номер выпить коньяку. А Роман Солнцев посвятил мне стихотворение по этому случаю. Спасибо ему.

Марии Семеновне Астафьевой

22.08.84 года. Марсель — Париж

О, Господи! До смеху ли — жара который день!

Летели мы и ехали меж белых деревень.

Мы пили воду всякую, когда совсем темно.

С французами калыкали, мы знали и вино.

Тут вам не наше Сормово, не наша колбаса.

Мария свет-Семеновна, такие чудеса!  
Ты, значит, в день рождения на «Бойинге» летишь,  
Не более не менее, как в самый тот Париж!  
Нам спонсоры модные бормочут про грозу.  
Она, свивая молнии, проходит там, внизу.  
Но предстоит нам все-таки ее пробить — и вниз.  
Пока мы спим на солнышке, мы малость напился.  
Но вот в иллюминаторе мигнуло, понеслось —  
По-русски, значит, к матери, отвесно, на авось!  
Так жутко и озоново, и ты к земле паришь,  
Мария свет-Семеновна, ты падаешь в Париж!  
Ты вспомнишь годы первые, с козлиным молоком,  
И те костры военные, и мирные потом...  
Детей... и голос диктора, что на земле у нас  
Нет, значит, лучше Виктора писателя сейчас.  
Земля в опасном ракурсе, и мы, друзья твои,  
Тебе желаем радости, покоя и любви.  
А летчики французские — «шарман» или «зер гуд!» —  
Почти, как наши, русские, тебя поберегут.  
С тобою все сегодня мы! Что грустно так глядишь?  
Мария свет-Семеновна, ты въехала в ПАРИЖ!

Роман Соколов.

Турпоездка писателей во Францию.

Хорошая, интересная была поездка. Только я вернулась из Парижа, Виктор Петрович мне говорит, мол, здесь ведь все ждут юбилей. Что делать? Давай соображать да хлопотать, да телеграммы давать. Многоступенчатый получился юбилей, но красивый, торжественный — на уровне. Прилетали и В. Распутин, и В. Курбатов, и наши Андрей с Таней и Женей, Володя Крушин и Женя Капустин приезжали, и молодогвардейцы, и режиссер-документалист М. Литвяков, родные из Игарки. Многие приезжали поздравить.

Виктору Петровичу наконец-то стало хорошо работать, а то уж, говорит, и интерес, и жажду к работе начал утрачивать. Он сидит в деревне, топит печь и в большой избе, а в избушке работает. Написал несколько рассказов, и если он не попадет на сквозняк и будет прилично здоров, а я успею напечатать два больших новых рассказа, то улетим в Москву и оттуда группой — на выездной секретариат в Ставрополе. А на пленуме он был, но ради встречи с друзьями, потому что иного ничего интересного не было.

Андрей уехал вокруг Европы, скоро должен вернуться. А Татьяна собирается в октябре на неделю в Англию — подобрала группа преподавателей из вузов с английским языком. Нын-

че они решили повольничать, а на будущий год Женя пойдет в школу. А теперь мне было бы очень нужно хоть немного времени, чтоб прийти в себя от потери родных и, наверное, со многим смириться. Печалюсь, что сердце мое то и дело выходит «из повиновения», часто и лекарства не снимают боль, от уколов пока воздерживаюсь, поскольку прежде хочу помочь голове.

Грузины поостыли насчет «Ловли пескарей», а на ночь я телефон отключаю. А письма пишут в основном ученые да преподаватели русского языка, которые на уроке, стукнув по столу, спрашивают, точнее, объясняют уж в сотый раз: «Скоко надо говорить? Палто пишица бэз мяхкий знак, тещца — з мягким знаком; ненастя — погода плохая — бэз мяхкий знак, а Настя — дэвочка — с мяхкий знак».

Напечатала новую главу к «Последнему поклону». Глава большая и уже пообещана С.П. Зальгину в «Новый мир». Всю ночь печатала, на другой день поехала в деревню — есть предлог: сколько может продолжаться эта изматывающая агрессия? А Виктор Петрович очень любит читать с машинки. Думаю, обрадуется, проронит слово золотое, а может, и спасибо скажет, а может, и про здоровье спросит?.. Только напрасно я себя тешила: ни здравствуй, ни прощай — с тем и вернулась, но себе уже сказала: «Сюда я больше не ездох»...

Ирина вышла на работу, снова в редакцию. Поля ходит в садик. Витя учится в четвертом, умудрился по английскому две пятерки принести!

Попала газета с последним интервью с В. Катаевым. Общее впечатление — не восторг, но то, что он мимоходом, не называя ни автора, ни произведения, «укусил» Виктора Петровича, — тут я с ним согласна: я никогда не ставила в заслугу автору того, что касалось унижения женщины, ни в поэзии, ни в прозе. И потому в «Детективе» Чащиху и Сыроквасову, в «Слепом рыбаке» жену этого самого рыбака не приемлю: они либо надуманны, и утверждать это или давать повод — не есть достоинство мужчины. Я никогда не встану на защиту Урны или другой спившейся и опустившейся бабы, а об этих — я при всем при том на их стороне, как и на стороне Дерки.

Тут еще и сама жизнь с ее сложностями, вывихами, суетой, отсутствием хотя бы самого необходимого человеку в жизни — все это не дает спокойно жить никому, даже тем, особенно тем, кому и жить-то осталось всего ничего. Вроде чего-то и понять пытаешься, но увы, все равно хочется, да так, наверное, и должно быть, чтоб правильно и мудро думали и поступали государственные деятели. Это их обязанность... Это я все из-за тревоги о детях, теперь уж больше о внуках, пребываю в мучительных раздумьях о своем человеческом бессилии.

Виктор Петрович отправил телеграмму: «Москва. Кремль. Верховному Совету. Президенту Горбачеву. Разгул преступности в стране переходит в террор, вы, как всегда, медлите и опаздываете с принятием решительных мер. Народ вооружается, и, когда кончится его долготерпение, он повернет оружие против вас и вашего бездейственного правительства, против растерянно притихшей армии и сметет всех вас. Вот тогда начнется хаос, какого еще свет не видел. Когда-то уважавший вас Виктор Астафьев».

И уж когда Виктор Петрович пророчески сказал, что если не в будущем году, то через год непременно произойдет в нашем отечестве разделение на бедных и богатых. Но прежние богачи были образованны, интеллигентны, воспитанны, часто даже справедливы, а нынешние, новоявленные миллионеры — христопродавцы, воры, хваты — им никого и ничего не жалко... Что же будет с нашим народом, особенно с нашими детьми, которым жить и страдать...

Куда, как говорят, не ткнишь, всюду бугор да яма... «Вспоминаю, — говорит Виктор Петрович, — на концерт Зары Долухановой собралось двести пятьдесят человек! А на «Машину времени» — все своротят, валом повалят!.. Это упрощенная модель жизни». Симфонический оркестр дает блистательный концерт в блистательном концертном зале, а артисты концерта сидят на обшарпанных стульях — по каким развалинам их и насобирали?! Поэзия в настоящее время ищет упрощенный выход, и она упростилась, даже и в прозе наступило «затишье». Предчувствие: пожар далек, а дышать трудно. Поэт прошлого века Лермонтов создал огромное внутреннее напряжение и дисгармонию — и рано ушел из жизни. Талант — мучение. Сейчас над человеком висит опасность, а он безразличен, устал, спокоен, всего понемногу рванул: дачи, ковры, хрусталь — болезнь общества. И всему должно быть объяснение — нужно одуматься.

Здоровое общество не должно иметь сирот, но в наше время пока, увы... Должны бы быть очереди, чтоб взять сирот из детских домов, но... очередь за щенками и собаками — с ними легче и спокойней. Этот вопрос необходимо задавать и задавать себе: «Почему?»

В Вологде у нас была славная традиция: когда собирались у нас, скажем, то чаю попить, то чего покрепче, рукописи ли почитать или поговорить, но всякий раз читали очень много стихов — без них не обходилось. Здесь, к сожалению, этого нет. А жаль! Спасибо Виктору Петровичу — вычитает где-то хорошие стихи, придет ко мне, если я за столом или за машинкой, или в кухне, и скажет: «Вот, послушай...» И уж только потом, по его настоянию, желанию и потребности они вместе с поэтом Романом Солнцевым кропотливо, тщательно отбирали стихи для сборника «Час

России» — поэтического сборника, в который отбирали по одному стихотворению российского поэта, не из Ленинграда, не из Москвы, а из российской глубинки. И сколько же они, таким образом, включив в сборник «Час России», открыли замечательных поэтов, живущих в провинции, о которых и слыхом никто не слышивал! Вот уж когда и я начиталась стихов вволю.

Побывали на выставке «100 фото о Симонове» Е. Халдея. Выставка вызывает удивление, восторг, раздумья — во всех отношениях. Я, казалось мне, очень много видела К. Симонова на различных фотографиях и в журналах, и в книгах, но тут были такие, перед которыми надо долго стоять, долго смотреть-всмаатриваться и размышлять.

В связи с этим коснусь горестного события. Когда умерла Апроня — тетка Виктора Петровича, Апраксинья Ильинична, — в это время были по делам у Виктора Петровича редактор «Студенческого меридиана» и фотограф Валерий Урутюнов — от Гостелерадио. Он, естественно, фотографировал, когда уже были поминки после похорон, застолье, затем родственников и земляков по отдельности, чтоб после «смонтировать окружение» в родной деревне, и все недоумевал: как же это Виктор Петрович выкарабкался из такого «окружения» и стал выдающимся писателем и человеком?! Что они могли ему дать? Я осторожно пояснила, что здесь, в этом «окружении», он был ребенком, а основу в него «заложил» Валериан Иванович Соколов, фигурирующий в повести «Кража» как директор или заведующий детдомом. Он приучал, насколько было возможно, своих воспитанников к музыке, к чтению книг, много рассказывал, много читал вслух, сопровождая комментариями. И Виктор Петрович — тогда Витя — оказался податливей других, впитал в себя многое и соединил это с внутренне заложенным талантом, способностями незаурядного ума, пристрастился к чтению книг — все это сыграло самую главную, самую сильную роль в его будущем. Он не опустился до воровства, до пьянства, до картежничества и многого другого, свойственного слабости человеческой... Что касается учителя по литературе И.Д. Рождественского — Виктор Петрович о нем не раз и не два писал подробно и достойно.

В душе по-прежнему всяких дум и предчувствий много, но одна мысль постоянна: нам бы более не надо расставаться, но здесь так мало от меня чего-то зависит, главное, к сожалению, от здоровья. Сейчас, когда наступает тепло, жду возвращения домой Виктора Петровича и тут же опечалюсь, как представляю: приедет он домой и тут же засобирается в деревню, а я ее никогда не любила и никогда не полюблю, потому что ни одного лета (зимой же мы там не живем) не проходило не то, что в ра-

дость, а хотя бы спокойно. Там Виктора Петровича будто подменяют и он быстро, прямо на глазах, только успеет приехать, уже делается грубым, бесчувственным, увы, неприлично себя ведет, и жизнь моя там сводится к тому, что я вроде сторожа — дом караулю, а он то по родне пойдет, то гулять и явится то в «особом» настрое, то вообще наутро.

Схоронила брата, Сергея Семеновича, последнего из нашей большой когда-то семьи, а до этого схоронила тетюшку, брата. Вот менее месяца оставалось до дня, когда сравнялся бы сорок один год нашей супружеской с Виктором Петровичем жизни. Вспоминаю-говорю об этом без уверенности, потому как отношения наши были далеко не в том состоянии благополучия, чтоб говорить утвердительно. Не знаю, может, и моя вина в том есть, наверное, есть. Вот, к примеру, отказалась заниматься ремонтом веранды в деревенском «поместье»: покраской, побелкой и многим, связанным с ремонтом. Виктор Петрович заявил, что управится без меня. Все правильно: я устала от ремонтов в Чусовом, в Перми — частично: в новый же дом въезжали, а там и под ванной, и в туалетах, и на балконе — всюду спрессовавшийся цемент, всюду недоделки... Затем приводили, мягко говоря, в порядок дом и пристройки в Быковке, затем в Вологде, затем здесь. Да переезды, не один и не два... Устала. И здесь шесть лет живу и шесть лет все чего-то строится, ремонтируется... Когда я отказалась заниматься ремонтом — мне как раз предстояла работа с редактором, она «вела» и мою книгу, и книгу Виктора Петровича, — тогда Виктор Петрович при ней ясно и категорично заявил, что здесь, в деревне, вообще, ничего Марии Семеновны нет!

Ну, нет, так нет. Переживу. А у меня еще обида и оттого, что телеграмму о кончине брата шофер привез в деревню. Я заплакала и засобиравшись ехать на похороны последнего брата. А Виктор Петрович спокойно сказал, мол, ну, езжай, а я вот досмотрю футбол, погуляю, потом лягу, почитаю маленько. Завтра попытаюсь работать... И как же мне было больно и горько в квартире, где я кругом одна, ни билета на самолет, ни утешительного слова, ни помощи... А потом не встретил, мол, у меня же народ, разве не видишь? Вижу, молодой парень-студент из Ленинграда — лепит его бюст, два художника пишут его портреты, а до того на столе лежали газеты. В краевой газете полоса: «Знать Астафьева», беседы и публикации в «Огоньке», в «Литературке», в «Студенческом меридиане» — шутка ли! Как это выдерживать? И как не вознестись...

И сама себе, уж не знаю в который, может, в тысячный раз, велю поберечь себя. Ну, выйду я «из игры», — свет не померкнет от этого, мужики в одиночестве не останутся, а я — в зем-

лю, холодную, сырую, неприятную. Не за понюх табаку уступлю свое место под солнцем... Да кабы только это? Ведь и дети, пусть и взрослые, осиротеют, и внукам, думаю, будет меня не хватать. Думаю, ладно, что было, то было... Значит, начинать буду с уборки. Есть где разбежаться!

\*\*\*

Все-таки мы рискнули, не я, Виктор Петрович, пуститься в «юбилейную» поездку. В Свердловске нас встретили, приветили — все было хорошо, насколько возможно, через два дня поехали на «Волге» — мы же это расстояние всегда проезжали на поезде и ничего, кроме ближних станционных и придорожных окрестностей не видели. А в машине хорошо, удобно, дорога красивая, ехали, разговаривали — с нами был корреспондент, который как бы «прокладывал» или организовывал наш путь. Благополучно доехали до Нижнего Тагила — там в ту пору жил Витин фронтовой близкий друг — нынче, к сожалению, он уже умер. Пробыли у него коротко, вроде даже не ночевали, вечером они определили нас на поезд до Чусового — на этом промежутке пути на машине не проехать. Приехали в Чусовой утром. Вышли из вагона и слышим объявление: «Виктор Петрович Астафьев! Вас ожидают машины на привокзальной площади! Виктор Петрович Астафьев! Вас ожидают машины на привокзальной площади!..»

Виктор Петрович наклонил голову и сказал: «Вот так бы в сорок пятом!» Вход в город был на том же месте и та же вывеска, как в сорок пятом, — дощечка-стрела, покрашенная красной краской, и над нею «Выход в город». Народу на перроне много: кто-то приехал, кого-то встречают, кого-то провожали... А в рупор все повторяют, что ждут... Нас действительно ждали, и бывший в ту пору председатель горисполкома, как при разговорах выяснилось, — сын моей подруги Зины Ковязо, с которой мы до войны бегали на танцы в железнодорожный сад, сказал, представившись нам:

— Вы видели, сколько народу на перроне приезжающих встречает, все или почти все вас знают, захотят встретиться или хотя бы «посмотреть»... Мы заказали для вас номер в городской гостинице, но желали бы, чтоб вы согласились и разместились на эти дни, пока в родном городе, на «Огоньке» — в школе олимпийского резерва, в эту пору там пусто... Мы с радостью согласились, тем более, что в нашем распоряжении будет машина и мы побываем там, где нам побывать хочется да и необходимо.

Пока Виктор Петрович, маленько приняв за встречу и утомившись от дороги да разволновавшись — шутка ли: с сорока пятого года не бывали! — лег и быстро уснул, я, поблагодарив начальство, поехала в Новый город, где жила моя старшая сест-

ра Клава, повидаться с ней и взять с собой, чтоб поехать на кладбище. Свой-то могилы мы найдем, а «свежие», те, где похоронены родственники наши, умершие уже без нас, — их сможет найти только она. Она белила в квартире стены, не сразу меня узнала — давно не виделись, — обрадовалась и, узнав, по какому мы тут поводу, торопливо стала одеваться.

Уезжала с беспокойством, потому что только что вернулся средний сын с принудительного лечения, вел себя более чем странно... Но Клава поехала. Виктор Петрович уже проснулся, мы решили сначала съездить на кладбище, а потом, на обратном пути, хоть немножко за чаем посидеть, поговорить.

День был прекрасный, весенне-солнечный, снег оставшийся слепил глаза. Был конец апреля. Мы успели выйти из машины, шофер сказал, что будет ждать нас и с нами поедет, куда попросим, а начальство подъедет на «Огонек» вечером, после работы. И только мы договорились, налетел такой снежный заряд, когда все смешалось, не видать ни земли, ни неба, деревья угрожающе раскачивают вершинами разросшегося на кладбище леса. Добрались до родных могил на старом кладбище и перевели дух только тогда, когда припали к оградке... Это было жутко. Это было страшно, это было как суд Господен... И я сказала: «Этого нам еще мало, надо чтоб камнями било нас, камнями — чтоб мы так долго не покидали родных, которые здесь уж столько лет покоятся...»

Когда переходили по забродному снегу на другое, новое кладбище — оно рядом, и там покоятся мои братья, муж сестры Клавды, сестра Таисия. Кладбище казалось пустырем с метами в виде крестов и пирамидок. Клава все могилы помнила, показывала, какая в каком ряду, но я, подавленная ураганным смерчем, трудно воспринимала, что где, тем более запомнила — все мысли были там, возле маленького холмика, под которым покоится наша первая доченька Лидочка, рядом — широкая и высокая могила, в которой захоронены папа с мамой, сестра Калерия и брат Вася... К тому времени, когда нам возвращаться к машине, природа почти утихомирилась — сделала свое дело, наказала страхом и непогодью и отпустила с Богом — пока...

Мы постояли у домика, который строил Виктор Петрович, он переделан, поставлен на фундамент, и приподнята крыша — попал в хорошие, хозяйские руки. В избу не заходили — там живут уже другие люди. Но на сердце сделалось так тоскливо, такая охватила жалость, так все всколыхнула горькая память о годах трудной, невыносимо тяжелой, но молодой нашей жизни, о молодых годах, что завывать впору...

Из Чусового снова на «Волге» мы ехали в Пермь. Вадим, который как бы шефствовал над нами, сказал, что непременно на-

до для начала представиться областному начальству. А Виктору Петровичу уже не терпелось лечь, напиться горячего чаю, принять лекарства и лечь, но... И это «но», я думаю, и сыграло роковую роль в истории, из которой Виктор Петрович с величайшим напряжением своего, еще пока присутствующего, сибирского здоровья и вызволил себя для жизни...

Вызвали «скорую», ее сменила «реанимация» — и так двое суток, пока Виктора Петровича нельзя было трогать, чтоб переправить в больницу: не исключали летальный исход. Эти бригады не оставляли его даже на самое краткое время: когда «скорой» нужно было уезжать, они вызывали «реанимацию» и, только дождавшись смены, уезжали по другим адресам, к другим пациентам, которые в их помощи безотлагательной тоже очень нуждаются.

На третьи сутки Виктора Петровича перевезли в больницу и делали возможное и невозможное, чтоб он выдержал блокаду, одну за другой, и смог бы доехать до Вологды, а там — снова под наблюдение и помощь врачей. Полегчало маленько, и Витя сказал, что надо ехать к ребятам, в Вологду, купили билеты, запаслись лекарствами, кислородной подушкой и...

А в Перми мы останавливались у Миши Голубкова, и он клялся-божился нас проводить, главное — помочь Виктору Петровичу сесть в машину, дойти до вагона, определиться, багаж занести и попрощаться до следующей встречи...

Но вышло все страшно, рискованно и до безумия жутко. К Мише явились друзья, и они решили распить коньяк, закусить, пообщаться и нас догнать. Хорошо, что в эту пору и в предыдущие, когда Виктор Петрович лежал в больнице, Коля Шелепенькин, сокурсник и друг по сию пору нашего Андрея, навещал его там, приносил свежие газеты, отвлекал «спортивными разговорами». А в этот вечер он с женой Людой, Иринкиной подругой, пришли провожать нас, и, если бы не они, не хочу, не могу и представить, что могло быть. Коля с Людой на вокзале — а вагон в составе далеко — поспешили унести вещи в вагон, и чтоб Люда приготовила постель, а Коля вернулся бы и помог дойти Виктору Петровичу. Они спешили к вагону, а билеты у меня, и оставить Виктора Петровича одного нельзя никак — стоять не может...

Позже я написала Мише с Риммой более чем сердитое письмо и в нем, кроме всего прочего, в терпимых тонах сказала, что предполагала: ну, пришли к тебе друзья, хочешь тебе с ними пообщаться, выпить, поговорить... Но они местные, пермские, и коньяк бы не прокис. У нас же с Виктором Петровичем ситуация и положение было — не тебе объяснять. Ты же умный и надежный человек. Тебе бы на полчаса раньше на автобусе от-

правиться на вокзал, встретить там нас, помочь, поскольку в то время мы в помощи нуждались крайне, если не сказать — предельно крайне. А ты остался допивать... Спасибо Коле с Людой, которые, оставив двух спящих маленьких девочек, приехали, чтоб помочь. Из такси Виктор Петрович выйти не может — снова удушье, снова кашель, снова спазм. Я стою, его подпирала, Люда с Колей потащили вещи, но коль билеты были у меня, их не пускают в вагон — едва уговорили. А Виктор Петрович, сипя горлом, еле слышно говорит: «Все! Подыхаю к черту! Ну и элемент. — Он так Мишу часто называл, потому что Миша — из семьи раскулаченных. — Успели бы выжрать водку после!» Опять кашель, опять удушье...

Я прислонила его к перилам, где три или четыре ступеньки на перрон, а сама к вагону, сую билеты, плачу, наказываю Люде постель готовить, и обратно. Коля меня обогнал. А Виктор Петрович уже осел на сырую ступеньку, а возле него уж хмырь какой-то. Господи!.. Проводница выглянула и тут же: «Его в «скорую» надо, в больницу, а вы его в вагон!.. Он же концы отдает...» И только потом вы явились, уже в вагон, да еще с возгласом: «Да вот же они!..»

Мне, Миша, жутко, как вспомню. И как все разом насмарку: и гостеприимство, и участие... Вот мне и надо было, как говорится, сосчитать до ста, иначе... я надавала бы вам оплеух и выпнула, вытолкнула, графином по голове...

В Вологде Андрей подогнал машину к вагону. Каждый день «скорая», каждый день врач... Приехали туда Лева Дуров и Володя Крупин, собрались друзья Андрея, пытались как-то помочь участием, отвлечь, посидеть, побыть с ним рядом.

В Москве встретили Капустины, и с ними целая медбригада, и опять уговоры, что надо в больницу, а не в дорогу...

А уж перелет из Москвы в Красноярск... теперь, уж задним числом, — когда Виктор Петрович два месяца отлежал в больнице — не могу простить себе: как рискнула. Но впереди были суббота и воскресенье. У Виктора Петровича высоченная температура... Ты знаешь, Миша, — это уж на будущее — все-таки придерживайся золотого правила: прежде чем пообещать — подумай, а пообещал — сделай...»

Виктор Петрович еще лежал в больнице, когда приехала Ирина — я уже об этом сказала, — ее приезд и дети все-таки помогли Виктору Петровичу понемногу прийти в себя. А то, как он, когда летели в Красноярск, страдал и в краткие минуты между приступами, успевал взмолиться: «Господи! Как мне тяжело! Какая длинная ночь... какая бесконечная дорога...» — этого я, пока буду жить, не забуду никогда... Я умирала вместе с ним...

Нынешний год начался не очень весело, понимаю, и не толь-

ко для меня. Вести приходят одна печальней другой. Понимаю — и это тоже жизнь, однако тоскливо на сердце.

Виктор Петрович еще не знает, что не стало его подопечного, не стало «элемента», уже вполне сформировавшегося, талантливого писателя, моего земляка — Миши Голубкова, который не успел когда-то нас проводить из Перми. Все со всеми бывает... Ему только сравнялось пятьдесят лет. А другой поэт, тоже из Перми, словно бы предчувствуя свою кончину и умирая в одиночестве, написал, а Миша, уже обреченный, читал его стихи.

Когда возьмет меня всеильная  
И заключит в тесовый дом,  
И будет мне плита могильная  
Последним титульным листом,  
Я весь застыну от отчаянья,  
Не потому, что заточен,  
А потому, что на молчанье  
Невозвратно обречен...

\*\*\*

Не раз и не два мы вспоминали с Виктором Петровичем поездку в Эвенкию. Его пригласили — у одного из здешних поэтов, Алитета Немтушкина, это родина, он о ней пишет, пишет своеобразно, как своеобразна оказалась и его родина.

У Виктора Петровича бывает иногда такое откровенное чувство или глубинное (слово-то какое, но иначе не умею сказать). В тот год, когда я вернулась с похорон младшей сестры и пребывала в горестном состоянии — она оставила трех дочек, и самой бы пожить еще... Умерла в тот год моя сестра Таисия. И Витя мой, уезжавший с группой писателей на Алтай, взял и меня, отвлечешься, говорит, все равно уже ничего не изменишь, сестру не вернуть... Познакомишься, мол, с ребятами, посмотришь...

И я поехала. А я, наверное с детства, когда мало и редко куда приводилось ездить, любила ездить, и по сию пору не хватает силы и духа отказаться, если появляется такая возможность. В шутку говорю, что хоть на тракторе поеду, хотя на трактор ни разу даже не садилась. А в этот раз проводив в последний путь брата Азария, тоже переживала очень. Спросила, можно ли мне? Витя сказал: «Ну, конечно!» Полетели. Край, конечно, необычный, красивый пейзаж: то горы, то реки, то ледники, то тундра с ягельными мхами, болотами, карликовыми березками.

Вернулись вечером. Уже сварена уха, накрыт стол. Расселись, вышли, закусили, и начальство отбыло, а мы остались. Виктор Петрович затяжелел и ушел спать. Алитет развел костер, мы слушали тишину, которую время от времени своим ис-

терическим смехом спугивала на том берегу куропатка. Я читала много стихов. Алитет что-то говорил о Маркесе, что он до него не доходит, прочитал несколько стихов и бросил, замолк. Лариса, жена командира отряда, — он нас «катал» на вертолете — рассказывала с любовью и восторгом о своих учениках — она преподает в музыкальной школе, рассказала истории из эвенкийской жизни, тоже прочитала несколько стихов, но программных, школьных что ли...

Все было здорово, и я буду помнить эту ночь, эту поездку долго. Река шумела то умиротворенно, то приливо, темнота так и не опускалась на тайгу — оглянулись, а за рекой уже заря загорается... Вышел из избушки заспанный Виктор Петрович и сказал: «Не спите, полуночники, все бормочете, а вот че в мире делается, небось и не думаете... А там, может, че Михаил Сергеевич говорит...»

Сходил на берег, вернулся, передернув плечами, постоял у костра, но не присел, а отмахнулся от нашего приглашения и ушел спать дальше.

Весь следующий день рыбачили, кто чем, затем мы с Ларисой кашеварили, она даже шашлык сообразила, да какой! К ночи навалился комар, а ночью разошелся дождь, и из пяти дней, проведенных в тайге, выдались погожие только два дня. Зато уж наговорились, наслушались, надышались... В доме культуры была встреча гостей, нас, значит, с представителями населения — так было все это обозначено. И когда любезно представили слово Виктору Петровичу, а у него слово «не задержится» — для начала поблагодарил присутствующих, что все пришли, оказали внимание, затем поговорил немного о себе, о литературе, и потом пошли вопросы, среди них, конечно же: «Какое впечатление произвел на вас город?»

— Ну, сами напросились, так слушайте мое впечатление о городе. Удручающее впечатление. Город не ухожен, кругом беспорядки, но главное: все дома покрашены, все до единого, в какой-то обдристанный цвет. Где вы столько этой говенной краски-то взяли? Неужели ничего другого придумать не могли? Вот и все мое впечатление. А народ как народ, живет, работает, пьет, ест... как везде, только там, на «магистрали», комара такого нет, а здесь эти комары, как волкодавы...

Вот и встретили Новый год. Выходит, Виктор Петрович прожил здесь, после войны и долгих странствий, шесть лет, поскольку переехал на свою родину годом раньше меня, летом 1980 года, а я осенью на другой год. Жизнь идет вроде уж и привычно, без особых отклонений, которые мешают жить.

В начале лета, даже в конце марта, приезжала Ирина с деть-

ми и гостили здесь до самого отъезда в Феодосию — там и погретются, и фруктов поедят, и с морем познакомятся, да и сама Ирина, как сможет и сумеет, тоже отдохнет.

У нас в основном прежние дела и заботы. Виктор Петрович в основном в деревне, а я то там, то дома, но в городе больше, да и здоровье мое, как приехала сюда, хоть и помалкиваю, но чувствую, как оно из меня уходит помаленьку. Стараюсь об этом не думать, но оно, это ощущение, не радует и не оставляет в покое. Думаю, только бы не расхвораться — кто тут будет со мной возиться? Морока одна... Ну, будет как будет, думаю про себя, но дела пока делаю, надежды еще рождаются, радуюсь малым радостям, если случаются, радуюсь встречам.

В конце августа, пока предположительно, собираемся с Виктором Петровичем в Чехословакию — приглашения лежат, документы оформляются...

Дома опустело. Я съездила в деревню, сказала Вите, что Ирину с детьми провожала, что вот уж и телеграмма, что добрались благополучно, устроились хорошо, все живы-здоровы, ждите вестей, — и вернулась домой: много работы на машинке, да и надо подумать, что с собой взять из одежды, если поедем...

Дни идут, дела с разным успехом, но делаются, и только всякий день жду хоть самой короткой весточки от Иринки.

Для поездки в Чехословакию пока собрала только лекарства, положила на видное место — главное собрано, остальное — ближе к сроку. Кто знает, поедем не поедем, загадывать на дальнейшее время рискованно, а тут... как-то Ирина съездит? Мне бы как-то себя подкрепить лекарствами...

Иринка то пишет, то звонит, что отдыхают хорошо. Я ей потихоньку денежек туда подошлю, чтоб хоть на фруктах не экономили.

Где-то в половине августа вдруг обрушилось на меня состояние, когда ничему не рад, предчувствие чего-то неотвратимого, страшного, неизбежного, не стало покидать меня ни днем ни ночью. В это время приехали какие-то двое дипломатов, может, они и замечательные люди, но мне совсем не до них, мне и видеть-то никого неохота... Виктор Леонтьевич Деев временно ведал тогда какой-то спортивной базой или домом отдыха и пригласил поехать туда — отдохнуть. Я было отказываться начала, что вот... но он и слушать меня не захотел. Я понимаю, он хотел, как лучше. Еду, помалкиваю, когда можно не поддерживать разговор, слезы в горле комком... Там ходили, вроде даже грибы собирали, стали накрывать на стол. Когда выставили бутылки — я с ужасом на них посмотрела: они еще и выпивать будут. А так надо бы мне домой... Утешаю себя тем, что накануне позвонила Ирина, уже из Вологды, и так спешила рассказать, как они хорошо отдохнули,

что она еще никогда так не отдыхала! И ребятишки отдыхали, резвились, как хотели, как все было замечательно! Говорила прямо взахлеб, сама себя перебивая. Сказала, что с Полей завтра пойдет в поликлинику, чтоб взять справки, что здорова, Витя сходит в школу, может с ребятами повстречается, узнает в какую смену, а она сама через два дня выйдет на работу, говорит, никогда не думала, что так можно соскучиться по работе, и все твердила: «Спасибо вам, дорогие мои! Спасибо». Сказала, что приехали вчера, а сегодня наведались в Сиблу — там тоже все в порядке и тоже замечательно... Не могла Иринushка наговориться, будто чувствовала, как тяжело мне жить отчего-то в эти дни, что вот-вот обрушится какая-то беда... Слава Богу, что она выговорила свою радость от отдыха, что сегодня вот еще провернет стирку — много белья накопилось, — а там и на работу...

Поехали мы домой, а дипломаты остались у нас, Витя велел на стол накрывать, а мне бы впору завить во всю головушку. Но гости же... надо же...

И вдруг позвонила Валентина Михайловна Ярошевская — эти дипломаты ее знакомые, и она странным тоном спросила меня, у нас ли они еще и если у нас, то позвала бы к телефону Петра (кажется), недолго с ним поговорила — и гости наши были не были, мигом уехали...

Потом пришла Наталья Ильинична, врач, соседка и говорит: — Мария Семеновна! Звонила Таня (сноха) и сказала, что очень тяжело заболела ваца Ирина, что вам обязательно нужно туда поехать... Я поеду с вами...

Я перед ней чуть не на коленях, благодарю ее, что у меня все лекарства собраны... как хорошо, что я догадалась их собрать...

Я не помню, не знаю, может, уколы она мне поставила, вроде говорила, что перед дорогой, мол, надо успокоиться... И когда, плача во всю головушку, вошел в комнату Виктор Петрович и сказал, что нет у нас больше Иринushки... я еще пыталась ему сказать, что знаю, что она тяжело заболела, и мы с Наташей полетим... Надо доставать билеты... Господи! Я ничего больше не помню... Я ничего больше не запомнила... Когда утром Виктор Петрович вошел ко мне, чтобы сказать, что он привезет Иринushку и детей сюда... я ухватилась за его рукав, вышла в коридор, а там стоят Иванова и Пашенко. И только помню, что с горьким упреком спросила Витю: «Почему они? Почему не я?» — и моя память опять мне отказала...

В тот день, когда уехал Виктор Петрович в Вологду, или на другой день, не знаю, но Валентина Михайловна и наша Галя о чем-то меня спрашивали или пытались рассказать — тоже не помню; помню, когда сказали, что привезут детей, моя больная память очнулась — надо, пока я в понятии, обдумать, где их рас-

положить, слышу, что они приедут рано утром или даже ночью, и у меня очень заболело сердце, физически заболело, я думала, что не выдержит моя грудная клетка, лопнет, порвется внутри трубка, на которой оно держится... А у меня так мало сил, чтоб ему помочь... мне бы только не было так больно. Вспомнилось почему-то, как мы ездили по грибы в последний раз вместе с Иринкой и с детьми и как застряла машина на лесной дороге и надо было кому-то толкать. Дети в машине намокли, потому разулись и разделлись до трусиков, только б не простыли, я — после инфарктов и, значит, тоже сижу, выходит, толкать придется Ирине, потому что водитель за рулем, а у нее ишемическая болезнь ко всему... Я хотела и могла бы выйти из машины, но что от этого проку?.. Ирина толкала машину с таким напряжением, что у нее дрожали губы и распухло от непосильного напряжения лицо, сделалось очень красным и очень крупным... Я зажмурилась на мгновение, чтоб сообразить, что предпринять? Она же так умереть может... Что же сделать? И в этот момент машина тронулась с места. И я уж показываю Ирине, чтоб отступилась, перевела дух, а она машет рукой, мол, езжайте, езжайте, пока идет, пока снова не сели...

Когда машина была вызволена из податливой земляной ямы, Ирина осела под ближнюю возле колеи сосну, Михаил Иннокентьевич — шофер — помог ей раскурить сигарету, она отвалилась спиной на ствол и какое-то время сидела с закрытыми глазами, время от времени делая глубокие от сигареты затяжки, и через большие промежутки тяжело переводила дыхание: трудно вдыхала и, кажется, еще трудней выдыхала... Потом пошел мелкий дождь, и мы потихоньку поехали, чтоб выехать с этой неровной дороги, а Ирина пошла рядом с машиной. Михаил Иннокентьевич, наверно, дважды ей сказал, мол, Ирина, садись в машину — и немного отойдешь, и не намокнешь. А она на небо посмотрела, на лес и сказала, что, мол, пойду, наверно, уж в последний раз... И пошла... Михаил Иннокентьевич в то время не раз об этом вспоминал.

А Ирина любила дождь, особенно не холодный, не сильный, а моросящий, грибной. И в огороде, бывало, глянешь в окно — а далеко видно дорогу, по которой она шла домой с работы из редакции. Идет себе, как гуляет, босоножки в одной руке, сумка в другой, а она — босая и как бы вольная, в городе вроде бы предосудительно ходить босиком, а ей в радость.

Я пыталась представить, как там Виктор Петрович? Как он все это вынесет? Окажутся ли в это время надежные люди, помощники? Помогите ему, Господи! Помогите, люди добрые...

Я, конечно же, не могла представить себе и доли того, что там происходило, и до сих пор знаю как бы понаслышке — кто о чем

расскажет, кто, бывший в то тяжелое время там, напишет...

Я сквозь сон, как сквозь воду, слышала, как Валентина Михайловна говорила мне, что, мол, приехали, Ирину привезли, что дети здесь... А я слышу и не слышу, не могу поднять головы. Очнулась, когда стали помогать мне одеться, ехать в Овсянку — Ирина там, там и священник, ее уже отпели... надо ехать. Перед тем как выйти из дома, заглянула в комнату, где дети спали, — они по-моему, спали, а может, и их уже разбудили?

В Овсянке я увидела большой стол, как оказалось — гроб с телом Иринишки, обтянутый шелком, к нему пришиты беленькие цветочки, в изголовье — ее портрет в рамке, а Ирины нет... И я ждала... потом мне сказали, что Иринишку больше не увидишь: она в оцинкованном гробу — вскрывать нельзя...

Похороны совсем не помню, помню только, что меня крепко держали за руки, а я просила, чтоб мне можно было встать на колени перед могилой и поклониться дочери в последний раз...

После похорон Иринишки я с неделю была в странном состоянии, в тяжелом полусне, открою глаза: то врачи, то знакомые, то уколы, то лекарства, то утешения... Потом поднялась высокая температура и физическая боль не легче душевной — где-то подстерегло меня двухстороннее воспаление легких. Пытались лечить дома, но и сердце висело на волоске... От больницы отказалась наотрез — здесь, дома, хоть Витя и внуки вроде на глазах... От уколов уже нет живого места — куда их только не ставят... Устала от уколов, и врачи решили дать мне передышку, но тут обострились почки... Я давно уже чувствовала, когда приехала сюда, как стало уходить из меня здоровье.

А ночи длинные, о чем не передумаешь? Виктор Петрович о своем самочувствии ничего не говорит, да если и скажет — разве я могу ему чем-то помочь?.. Дни проходят безрадостно и безнадёжно.

Витя младший определился в моей бывшей спальне. Он спит на диванчике из моего кабинета, а Поля на раскладушке. Поставили письменный стол, днями установят три-четыре книжные полки и будет у него как бы книжный шкаф. Поля играет в куклы, их у нее уже четыре. Придет из сада, вытащит из-под раскладушки чемодан и стелет для них постель, укладывает спать. Вчера вон всех кукол выкупала в нарядах... Витя учится, полчетверти пропустил, значит, по четырем предметам не аттестован. Да это Бог с ним, жаль только, сам-то он переживает как глубокую несправедливость, вообще-то он учился хорошо. Я потихоньку-помаленьку приспособляюсь к делу: проверну белье в «Малютке», наберу полную ванну воды, скидаю туда белье и жду, когда кто зайдет, как бывало в Вологде, кто-нибудь да зайдет, прополощет, развесит...

В это тяжелое время я почти не была одна: приезжала старшая невестка из Перми, Оля, на пять дней, знакомая актриса — они жили тогда в Минусинске, а знакомы еще с Вологды. Приезжала Таня, жена Андрея, и тоже крутилась как белка в колесе, даже за машинкой посидела. Я лежа ей диктовала написанное Виктором Петровичем — почерк его часто нечитаю. Одновременно Таня присматривалась к ребятам, собралась было Полинку с собой увезти, но свидетельство о рождении ее в Вологде. Когда Ирина умерла, в Вологде знакомые, да и незнакомые, спрашивали, мол, как же теперь ребятки-то? И Таня мужественно, без раздумий, тогда ответила, что Иринины дети — наши дети.

Слушаю, как ровно посапывают во сне дети, — спят рядом в комнате. Сердце холодеет, когда услышу, как сильно кашляет Виктор Петрович, как напрягаются и страдают его слабые легкие. Смотрю на портрет Ирины — висит на стене напротив, и такой у нее взгляд на этой фотографии, будто постоянно следит за мной — печальный, снисходительный, все понимающий взгляд. Иногда удается сдержаться, не расплакаться, иногда плачу навзрыд, до головной боли...

Днем звонила Оля из Перми, сказала, что, узнав о беде, весь день бегала вдоль составов, идущих в Сибирь, просилась в вагоны, но, увы, ни до кого не допросилась. Теперь зарабатывает отгулы, чтобы ехать сюда, хоть на сороковины попасть.

Полинка и дома ведет себя весело, ласково, правда, трижды криком плакала, спрашивала, почему ей не сказали, что мама умерла? Она хочет к ней. И плакала перед портретом, мол, приезжай, приходи, я тебя очень люблю!.. Вчера села перед портретом и спрашивает: почему моя мама умерла? Говорю, что боле-ла очень. А она: «Почему ее не вылечили?» А когда ехали в машине, села ко мне на колени и сказала: «Ну, ладно. У меня будет другая мамочка и тоже будет меня любить. Тетя Танечка будет моей мамой...» А Витя замкнулся, может, от болезни, может, от горя, может, от того и другого. Читает, смотрит телепередачи и молчит; иногда спросит — надо ли чего помочь? — и все.

Дали возможность, чтоб Андрей с Таней отдохнули: тяжелую и пожизненную обязанность — воспитывать осиротевших детей Ирины они на себя берут. Отдохнули хорошо, сплавали на комфортабельном теплоходе от Красноярска до Дудинки и обратно, потом стали собирать детей, чтоб везти их в Вологду, к Андрею с Таней — на житье...

Много хлопот было с обменом и получением за две квартиры одну, но с учетом уже и детей — это была слишком большая и напряженная нагрузка для Андрея, поскольку всем этим заниматься предстояло ему. А он же еще работает, он же реставратор, а руки дрожат, сон плохой, в глазах красные да зеленые

искры мелькают, он не мог в руке держать скальпель. Затем переезд, обустройство в квартире и сразу трое детей, разных: Женя воспитан хорошо, в строгости и родительской ласке. Ирина, одна на двоих, была и добра, и строга, и слабинку им давала, жалюючи, и поддаст, бывало, сорвется, то на работе, то дома, а на ребятишках отдается, и она, зная и чувствуя это, и баловала их в меру возможного, и мало требовала, воспитывала, как умела и могла, и только любила беспредельно. Дети собирались в одной семье разные. Если б не было у Андрея с Таней своего сыночка, возможно, они бы с ребят и начинали воспитание детей, а когда один воспитан так, другие по-другому, в чем-то и не очень воспитаны, сразу начались осложнения разного рода, в разных случаях. У Вити дела в школе не заладились...

Как винить в этом Андрея и Татьяну, что они оказались не готовы к такому подвигу, на который решились. Затрачено было много сил и напряжения — тоже, но, к сожалению, ничего из этого не получилось... И последняя наша поездка в Вологду была хоть и коротка, да и лучше, что коротка, но столь удручающая, столь ошеломляюще горькая — теперь, даже задним числом, передать трудно. Разговор был в назидание и нам, и осиротевшим детям — тяжело вспомнить, и когда Андрей позвонил по телефону, что идет в отпуск, но у него все распределено, потому заедет к нам ненадолго, я написала им большое письмо, но главное, чтоб не возвращаться к тому разговору, — больше мне такого не пережить.

Андрей очень удивился, как Витя вырос, и сказал, мол, Вите у вас лучше. Пробыл сын у нас три дня, и все три дня, я невидимой стеной присутствовала между Андреем и отцом, между ним и Витей, да и Полинку постоянно старалась держать в поле зрения. Виктор Петрович общался с Андреем мало, только за обедом и у телевизора. Витя-младший к нему на «вы» и все ждал, надеялся, что дядя пригласит его хотя бы в гости... на каникулы — дети же легче и быстрее прощаются взрослым.

Я по-прежнему на лекарствах и дорожу каждым днем, мне отпущенным Богом после инфарктов и этого убийственного горя... И только чем дальше, тем все больше убеждаюсь в том, как опасно утверждать, что нет, я бы так не поступила, я бы так не сделала... Когда я тонула на Камском море и было очень мало надежды на наше спасение, однако тетка Виктора Петровича, приезжавшая в гости и тоже вместе со мною удивившая в эту беду, все спрашивала: «Спасут ли нас?» — «Спасут, — отвечала я, когда могла, когда не захлестывало водой, и убедительно добавляла: — Вон Зиганшина в океане спасли!» Господи! Да мне тот Зиганшин и на ум бы не приходил, когда мы в таком положении, тетка вообще о нем не слыхивала, а вот...

Мы сами, молодые и уж куда как бедные да неустроенные, после войны жили уж за таким краем бедности — ни в сказке сказать, но когда умерла моя сестра и оставила маленького ребенка — Толо, когда моя мама уже не могла с ним управляться — годков с трех он рос у нас, рос на равных с нашими детьми — Ириной и Андреем... Наверное, тогда другого выхода не было, а может, времена были другие, а может, что Виктор Петрович сам рос сиротой и решил себе: пусть лучше в бедноте, да в семье растет парнишка, чем в детском доме...

Я как бы отошла от постигшего нас горя, но частично рассказывала об осиротевших наших внуках, без которых нам теперь жизнь свою трудно представить. А дочь так жалко, так жалко!.. Мы никак не можем примириться со смертью дочери своей Ирины. Это уже вторую дочь мы похоронили, но та была маленьким шестимесячным ангелочком, уморенным нами голодом, и в нас живет вечная вина перед нею. А Ирина... Нас утешали и утешают, но нам не нужны эти утешения, нам нужна наша дочь, детям, нашим осиротевшим внукам, нужна мама... Пусть бы нам было еще хуже, но чтоб была жива она, но ее нигде среди живых нет... И Виктор Петрович, когда мы съездили на кладбище, приехали домой, сели обедать и помянуть, горько заплакал: никогда, говорит не думал о своем возрасте, а теперь сожалею горько, что так много нам лет и так малы наши внуки...

\*\*\*

Но я должна сказать, когда пишу о смерти дочери Ирины, об осиротевших наших внуках, должна сказать и поблагодарить всем своим сердцем милых и добрых людей, которые нас не оставили тогда, в такое для нас горькое и трудное время, которые не оставляют и сейчас, когда случается крайняя минута.

Я благодарю Эмму Константиновну Родичеву и Галину Николаевну Романову, Галину Николаевну Краснобровкину — сестрицу Виктора Петровича, Зинаиду Иосифовну Зорькину-Дееву, Ольгу Семеновну Денисову, Надежду Борисовну Козлову, Нину Ефимовну Пашкову и Наталью Ильиничну Ермакову, вернувшую меня к жизни после клинической смерти, и уж не говорю о постоянной неизменной ее помощи, как и Ольги Семеновны, и о многих замечательных, душевных людях, которые не оставляли и не оставляют нас в трудное время.

Особенно готова бесконечно благодарить Валентину Михайловну Ярошевскую, которая столько для нас делала и делает.

А познакомились мы с нею престраннным образом: приехала она к нам — ей надо для музея фотографии, книги и многое-много — для выставки, посвященной предстоящему юбилею Виктора Петровича. А мы так долго, с такой нерешительностью, опа-

ской и нездоровьем Виктора Петровича все-таки собираемся в путь — уехать от юбилейного шума, побыть с детьми и внуками, поведавшись перед этим, по ходу пути (я об этом уже писала), с друзьями в Свердловске и Нижнем Тагиле. В Чусовом посетили родные могилы и прибыли в Пермь, где прожили много лет после Чусового, и там Виктора Петровича уже караулила тяжелейшая болезнь. Мне надо быть связанной и с врачами, чтоб в дорогу взять необходимые лекарства, собраться самим и все предусмотреть насколько возможно — мечусь в тревоге и спешке, и тут вот, именно в этот момент появилась Валентина Михайловна, которой тоже нужна моя помощь... Я спрашиваю: «Где же вы раньше-то были?» — «Стеснялась». — «Вы?! Нас?!» — «Да, просила-уговаривала Владимира Алексеевича Зеленова поспособствовать нашему знакомству и деловому контакту...» Тут уж я рассвирепела, а она взмолилась: мол, за что вы меня так не любите?..

Что было, то было, не сразу наши отношения сложились, но в самое трудное, самое сложное, безвыходное для нас время она первая пришла к нам, помогла, чем могла и, сверх того, помогает по сию пору, и мне бы сказать о ней нежные, благодарные слова, но таких слов, таких... что могли все выразить и определить, у меня нет, а на каждое мое к ней «Большое спасибо», — только отмахнется и скажет, ну чего вы на самом-то деле? Я делаю для вас то, чего не успела сделать для мамы... И этим убедила навсегда, и нам, чем дальше, тем невозможней без нее, особенно после постигшего нас убийственного горя и когда внуки остались с нами. И чего уж ей стоило выдержать наше состояние, когда мы пытались пристроить свое горе и то определяли детей к родному дяде, то забирали обратно... Она и для них, особенно для внука Вити, который после переезда к нам месяца два молчал, замкнулся в себе, — только она смогла его «разговорить», освободить от этой оглушающей несправедливости и судьбы, выпавшей на его долю, во многом повторяющую судьбу деда, Виктора Петровича. О ее отношении, нет, участии в жизни, учебе и многом-многом другом, что касается детей, я уж не говорю о себе, можно было бы рассказывать долго и много, но все, что она делает и от чего нам легче жить, — делает это столь ненавязчиво, незаметно и столь естественно, что никому не придет в голову не то, чтоб как-то упрекнуть ее, мол, «вписывается» то и дело в жизнь людей, нас, значит, но, думаю, даже мысль такая не посетит, если человек тот нормальный и если он — человек вообще.

Я не сказала ничего о нашей давней знакомой, ближе чем родной, которую все наши знакомые и друзья, познакомившись с нею, сразу полюбили, прониклись глубоким уважением, восхитились и продолжают восхищаться ее женским чутьем, самоотверженностью, приспособленностью к жизни даже в самом

трудном и тяжелом ее проявлении, о том, какая она мастерица на всякое дело, за какое бы ни бралась. Для нее не существует ни понятия, ни слова — «я не умею или я не могу»! Я говорю о заслуженной артистке РСФСР Тамаре Александровне Четниковой. Я, к сожалению, вернее мы с Виктором Петровичем, не в состоянии здесь сказать обо всех, кто нам был и есть верен, предан и надежен. Но всех сердечно благодарим во веки веков!

\*\*\*

Когда вспоминаю о своем творческом вечере как писательницы, о том волнении, которое до последнего момента — до начала его — переживала и пережила, — вспоминаю теперь, по прошествии времени, со светлой печалью и радостью. Радостью оттого, что так много присутствовало в зале читателей моих и, конечно же, Виктора Петровича. Я не сразу дала согласие, поскольку думала, что не все, так большинство придут посмотреть на жену Астафьева, будут спрашивать: тяжело ли быть женой писателя, да такого? Сколько раз замужем и прочее

Напрасно думала, ничего такого не было. В одной записке был вопрос: «Описал ли вас Виктор Петрович в своих произведениях?» Ответила, что пока нет, разве что когда ему писать станет вовсе не о чем, тогда... Спросили, какой общественной деятельностью я занимаюсь? Вернее, занимаюсь ли? Я ответила: «А чем же тогда я занимаюсь? Выростила троих детей: сына, дочь и племянника. Работаю профессионально как писательница, у меня вышло одиннадцать книг, кроме журнальных и газетных публикаций. Разве эта работа не для общества, не общественная?» Мне даже много аплодировали, было много цветов. А Виктор Петрович был дома и, как оказалось, очень волновался. На другой день и позже спрашивали-интересовались разные соборы, мол, как прошел вечер? Говорю, со стороны видней. Зато Валентин Яковлевич Курбатов, представлявший меня, сказал, что вечер прошел отлично (может, и не совсем). Как по сценарию. Ни одной сбивки, ни одного перерыва, ни одного зряшного слова. Что на многочисленные вопросы Мария Семеновна отвечала сходу, без раздумий, без запинки, живо, интересно, остроумно и очень доверительно. Будто каждый день этим занимается!..

Даже если приукрасил, мне все равно очень приятно это и дорого. Думаю, будь бы время, надо бы еще написать о своих военных девочках, не так, как в «Тихих зорях», а было как было, да видно уж не успеть. Ну и ладно. Тогда хотела бы сказать, к слову, что не могу вспомнить книгу, где говорилось бы только о человеческих радостях: Всюду, на любом континенте, в любой стране, люди живут — страдают, болеют, борются, умирают, будто только для этого родились на свет...

И дети, и мы часто и с удовольствием вспоминали, как путешествовали на комфортабельном теплоходе «А. Чехов». Плавали от Красноярска до Диксона и обратно. Каких красот мы только ни насмотрелись! Какое сильное, радостное и жутковатое состояние пережили, когда проходили пороги, особенно Осиновские! Весь народ высыпал на палубу. Казалось, еще чуть-чуть и от нашего комфортабельного теплохода только щепки полетят! Сердце не то что ушло в пятки, а от яростной и жуткой радости прыгало то вверх, то вниз, и уж подумалось: «Ну, если что... погибать, так с музыкой!» Но, слава Богу, все обошлось, и мы незаметно входили в северные белые ночи.

Когда проплыли мимо станков Полой, Курейка, Карасино — это все места обитания парнишки Вити Астафьева с отцом, Петром Павловичем... Я смотрела и глубоко недоумевала, изумлялась: что же тянуло сюда его, Петра Павловича, не любившего ни работать, ни кормить семью, не умеющего, да и не желающего, в такую глухую отдаленность, где ни света, ни магазина, ни теплого жилья, только молодая жена и дети... Да он и не был особенно этими заботами связан, он то на участок — с отчетом или за деньгами да за талонами, загуляет там, что проплет, что растеряет, а у этих — матери и детей — ни хлеба, ни дров... Представить все это трудно и страшно, и я переживала, глядя на все это, и мысленно представляла — молча, — не хотела говорить о покойном плохо, смотрела на Виктора Петровича, на заброшенные давно поселки и станки, и мрачно мне делалось на душе от всего этого.

Походили по Игарке, поездили по старому и новому городу. В старом городе побывали у здания, где располагалась когда-то детдом, откуда Виктор Петрович уходил «в жизнь». Здание сохранилось, даже крыльцо деревянное, потому что этот вход перекрыли, переконструировали в здании, что смогли, и разместили там «рыбную» контору. Был конец рабочего дня, вышла женщина, посмотрела и говорит, мол, заходите, Виктор Петрович, посмотрите (утром-то встречали и фотографировали местные журналисты). Походили, посмотрели, вокруг обошли, и Виктор Петрович все повторял, мол, хорошо жили, хорошо жили, а у меня слезы кипят, не успеваю смаргивать, — чего уж там — хорошо жили... Хотя в теперешних детских домах жизнь у ребят такая, что уж и не понять: не то детдом, не то колония...

Почти в одно время с нами, когда мы вернулись, в Красноярск поездом приехала группа писателей с Украины, и Виктор Петрович только успел умыться дома, переодеться, и после мотания с ними туда-сюда и на машине, и на катере, и на «ракете» нам тоже надо было их принимать. А дома ни воды никакой, белья грязного груды, пыль на всем, а тут и угощать надо. Ну, на-

до, так надо. Хорошо, что мы привезли много рыбы да была уже свежая картошка.

Было очень много поздравлений, письменных и по телефону по случаю присвоения Виктору Петровичу звания Героя Социалистического Труда. Хорошо написал Валя Распутин, мол, я тоже все переживал, пока не вспомнил поговорку: «Дают — бери», и далее уже придерживайся ее.

С украинскими гостями посидела раза два или три, со смехом мы с Виктором Петровичем вспоминали украинскую мову — мы же поженились на Украине! Когда гости разошлись, а дети и Виктор Петрович легли спать, я села к своему письменному столу, а над ним фотографии мамы и папы, и мы с Витей рядышком, молодые еще — первая общая с ним фотография! Лампу повернула к стене, сижу, разговариваю с ними, рассказываю, что Витя такого высокого и всеобщего уважения, известности добился — он теперь Герой Социалистического Труда! Вот какая у него головушка! Говорила, что теперь-то мы хорошо живем и вы бы у нас жили или гостили, и я бы за вами ухаживала, и радовалась бы, что вы у меня есть, такие хорошие и сердечно дорогие... Тетю Тасю вспомнила, как она тогда горько подумала, насчет моего мужа, нашла, мол, себе кривенького, израненного, как и жить будут?.. Вот теперь бы посмотрела и порадовалась бы, хотя тетя-то Тася все-таки успела у нас побывать не раз и поглядела, как живем... И Вите говорила, глядя ему в глаза, как он трудно, долго, честно, смело, даже дерзко шел к этому высокому признанию... А Виктор Петрович, бедный, не знает, куда скрыться от собкоров да почитателей. Ему поработать охота, а его везде «достают», везде мешают.

Днями позвонил Андрей, он был в командировке и только дома узнал о том, что отцу присвоили такое высокое звание, — заработал честно, и я, мол, очень за него рад, а то мотался по глухим деревням и ничего слыхом не слыхивал...

Когда Виктор Петрович приехал — ездил в какие-то отдаленные места, насчет мрамора для памятника, — только разулся, сел, и Полинка сразу к нему на колени, а он ей: «Принеси, голубчик, деду попить, а я потом тебя полюблю, пока же с бабушкой мне очень надо поговорить.»

Я, говорит, перед отъездом торопился — машина ждала — и не рассказал тебе, какой тревожный и тяжелый был тот день, в канун отъезда, что приезжал к нему товарищ из органов — он подходил еще на сессии и сообщил, что разыскал документы по раскулачиванию и аресту отца и деда, что надо ведь их реабилитировать... Ну, вот он и приехал, и они только разговаривались... посмотрел, говорит, я на фотографии, расплакался — ни отца, ни деда в том возрасте, естественно, не видел, теперь, го-

ворит, понимаю, за что его мама так любила, и, если бы не аресты, да не тюрьмы, он, наверное, был бы не самым плохим человеком, и мама из жизни не ушла бы так рано и мучительно...

А тут опять принесли телеграммы. А тут телефон звонит: говорят, что вылетать надо рано утром, а ему и выкупаться надо, и собраться... А тут еще и «Ломоносова» показывают. И Полинка спать не ложится, ждет, когда дед полюбит. А накануне телепередача о нем была, но он захватил лишь последнюю минуту. Говорю, передача получилась ничего, все прилично, правда, ведущий, перечисляя телеграммы академика Исаева, которого мы хорошо знаем, назвал Егором Исаевым, поскольку тот постоянно то тут, то там мелькает.

\*\*\*

Отвели внуку Вите день рождения. Сказать, что было весело по-детски, к сожалению, не могу: не было веселья большого, ни детского, ни взрослого. Полинка весь вечер крутилась-вертелась около брата, он ее угощал, иногда отстранял от себя, не сердито, но серьезно. Я уж говорила, что когда он приехал к нам, первое время молчал, не улыбался, не играл, не читал, был как затравленный зверек, спасибо нашей близкой знакомой, такой молодой — она ровесница нашей Иринишке, — такой мудрой и самоотверженной. Она и взялась за Витю, записала его вместе со своим сыном в бассейн, стали ребята поочередно ночевать то у нас, то у них. В воскресенье она ходила с ними в кино, устраивали праздники-микрораздники: то выпадение белого снега, то оттепель, то день рождения кота, то еще чего-нибудь, и вот Витя начал помаленьку оживать, улыбаться, рассказывать, о чем-то спрашивать и в себе переживал свой сложный возраст и горе неизбежное — на всю жизнь.

Когда вечером, прибрав посуду, остались с ним одни, спросила, где же он был до позднего вечера, голодный, легко одетый, в резиновых сапогах (зимой-то). Пока, говорит, тепло было, подолгу сидел на железнодорожной насыпи и смотрел, как идут поезда... А потом когда где. Утром уходил рано — мне же все равно не завтракать, — помогал Полине одеться, и мы уходили: она в садик, я в школу, иногда стоял в подъезде у Сашки — друга, ждал, когда выйдет, и мы вместе идем в школу...

Поговорили немного уж о другом, сказала ему, почувствовав, что ему неохота про все это вспоминать, чтоб порассматривал еще подарки, может, модель планера начнет собирать, если не хочет спать. Сама ушла — от греха подальше, чтоб не разреваться, не добавит внуку еще горя... Лежу, вспоминаю, как их провожали в Вологду: накануне отвели годовщину смерти Ирины, на другой день рано утром уезжали и они. Виктор Петрович

проводить в аэропорт не поехал. Сразу после их отъезда наступила в доме убийственная тишина.

Дорогой, пока ехали в аэропорт, Женя и Полинка дурачились, бегали с места на место, Витя сидел на переднем сиденье у двери и молча смотрел в окно, может, вспоминал, что видел, прощался, может, думал со страхом и беспокойством, что их ждет в Вологде? Завидев вдали здание аэропорта, притихли и ребята. Я держалась на пределе. Когда началась посадка в накопитель, Поля подбежала ко мне и спрашивает со слезами: «Бабушка! А ты-то почему с нами не едешь?» — «Дедушку закрыла на ключик — он же спал, а когда проснется, то никуда и выйти не сможет...» А она: «Уж десять раз можно было съездить да отпереть его — вон как долго ждали...»

Обратной дороги я из-за слез уж и не видела... Жизнь, ясное дело, многообразна. Но быт, собственное нездоровье и, главное, нездоровье Виктора Петровича, да безмерная вина перед забывленной дочерью, что ее нет, а мы живем. И вообще, она, жизнь, навязала столько «узлов» за долгие годы, что я уж вроде и надорвалась, как чеховский Иванов... Однако нестерпимо горячо желала бы продлить хотя уж и не очень желанную, свою жизнь и живу как бы с оглядкой, но и с робкими надеждами.

Помнится, как в канун отъезда ребят всю ночь ко мне лезли с микрофонами разные корреспонденты с вопросами про конференцию, про перестройку, про впечатления. Я отбиваюсь, что не была там и что все нынче так заболтано... Маялась, а проснуться не могла. Проснулась, когда полезла через меня на мою кровать Полинка, тепленькая, ласковая, в коротенькой ночнушке. Говорю, что у меня холодно — сплю под простыней, что взяла бы тогда одеяло. А она: «Я его тещу...»

А вечером (это все в канун отъезда) пришли к Виктору Петровичу его знакомые. Я поставила чай; все разместились в большой комнате: Андрей с Таней, Виктор Петрович, гости, я села на диван к балкону, как бы в стороне. Поставили пластинку с цыганскими песнями и уговорили Полинку танцевать. И она, несмотря на то, что оставлена была без обеда, — Андрей спросил, будет ли она обедать, а она, собравшись гулять, сказала, что есть не хочет. И он меня тут же строго предупредил, что до ужина ее кормить не надо, а она молча повязалась косыночкой и ушла, не плача, не прося потихоньку хоть печенюшечку... И вот нарядилась в старую тюлевую штору, повязалась длинным (запасным для сумки) ремешком с карабинчиками на концах, будто монаха, и начала танцевать, да как! Все движения в такт с мелодией...

Я смотрю на нее из угла и рыдаю, не могу остановиться, так горько плачу оттого, что она, не помня обиды, что оставлена без обеда и вот уж год растет без родной мамы, без материнской

ласки... танцует, доставляет нам удовольствие. А я думаю: «Господи! Чего их ждет, всех детей, особенно наших осиротевших внуков?..» Полинка, увидев, что я плачу, подбежала, спрашивает: «Баба, ты почему плачешь?» Говорю, что песни печальные. Утерла ладошкой мне слезы и снова пошла танцевать, то и дело поглядывая на меня.

Помню, как жалели Бима, прочитав повесть Троепольского. А я была в детском доме, или в доме ребенка, на улице Вавилова, по-моему, — при мне сдали трех детей! Трех! За три часа!.. Кто их пожалеет... Ребятишек в этом доме ребенка даже гулять не выводят — не в чем, нет ни одной одинаковой пары обуви, хотя бы по размеру подходящей. Пока для одних ищут, насобирают с грехом пополам, а эти вспотели или обмочились, или уснули... То, что приносят добрые люди из вещей и игрушек, — я в Вологде не раз носила что было, такое необходимое из одежды, игрушек, обуви. Там — не знаю, а здешние няни, в то время, когда я там была, продавали и пропивали...

Живем как-то суетно, надрывно, видно, ослабла крепость нашего духа и погасли надежды. И время катастрофически сжимается. И грустно (нет, это чувство сильнее, чем грусть), что яростного в нашем мире становится все больше, а прекрасного — все меньше; все истинное возрождается мучительно, и сердце черствеет. И я ловлю себя иногда на мысли, что вроде коплю обиды и обобщаю огорчения, и после с великим трудом как бы вразумляю себя...

Как-то по телевизору показывали — веление времени — 1000-летие крещения Руси. И было показано интервью с молодой монашкой. У нее высшее образование и такой свет в глазах, в душе такое высшее начало, и я — очень себе удивилась — позавидовала ей так остро, так искренне!.. Может, оттого, что знаю, из чего и как в мирской жизни состоит жизнь современной женщины, и она раньше срока уходит из жизни, часто не испытыв даже малой доли женских радостей, наслаждений, праздников, не познав материнства, не поносив красивых одежд. Женщины не стало, она износилась, потому что сплошь да рядом делала работу за мужиков, за тех, кто должен был работать в полную меру, но умудрялся делать дело, какое полегче, или вовсе умеючи от него отойти, переложить на других... Я все к тому, что наша дочь Ирина умерла именно от перегрузок, редко когда компенсировавшихся уж если не счастьем, то хотя бы радостями... Она даже своей Полинке нарадоваться не успела. Вот опять лето и красота удивительная вокруг, а она уж столько лет ничего этого не видит и никогда не увидит, не услышит ни шороха листвы, ни птичьего пенья, ни грибов не поищет, ягод не соберет... Разве такое в жизни человеческой справедливо, кто бы нам сказал? Почему наши внуки

должны расти сиротами, не надо трудиться долго, чтобы представить, что у них будет за жизнь, да еще в такое-то, сбившееся с толку, обезумевшее время...

Однажды Виктор Петрович сказал, что кому-то написал большое, подробное письмо, в ответ на такое же. И я сказала, что мне давно уж Витенька не пишет писем, иногда позвонит, скажет несколько слов — и все. А я так люблю его письма, люблю, когда они приходят, как бы ступаю его голос, когда я одна — читаю их не по разу. И вот приехала я тогда с очередных похорон. Приняла душ, попила чаю, рядом стол с кроватью, положила письма и стала их сортировать — что Вите, что мне. И от Вити обнаружила четыре письма: из Варшавы, из Берлина, из Мюнхена. И для меня это было даже не событием, а чудом! Будто Витя мой оттуда, из далекого далека, взял и отвлек меня от мрачных раздумий, взял и пожалел!..

\*\*\*

В половине десятого утра из Москвы позвонил Виктор Петрович, сказал, что вот явился из дальних странствий, что все ничего, что за время поездки успел побывать в пяти странах, даже в Канаде. Еще сказал, что когда улетел в Колумбию, то не очень осмотрительно себя вел, забыл подкупить фталазола (его в этом смысле постоянно бросает из крайности в крайность) и еще — напился от души пива. В самолете постоянно предлагали то, се, и вот пиво, перед которым он не устоял, — очень, говорит, хорошее, а в Лиме — летели с одной посадкой — не смог втиснуть отекишие ноги в туфли, время было ночное, в отеле извинился перед дежурной, что явился в тапочках — так отекали ноги. Что в Москве ему надобно побывать в большом писательском союзе и там решится вопрос: срочное ли то дело, по которому ему надлежит посетить Кремль. Сказали, что впереди суббота и воскресенье, все от этого будет зависеть.

Пообещал вечером позвонить, чтоб сообщить, когда его встречать. Но, мол, не раньше 6-7-го мая — все зависит от обстоятельств, от приема, когда состоится встреча. Предупредили, чтоб эти дни был около телефона. Он решил на эти дни съездить в Вологду, только, сказал, в Сиблу с Андреем съездить не смогут, коль надо быть у телефона.

Шестого утром позвонил уже из Москвы, сказал, что Толя встретил (Заболоцкий), мол, попою чаю и лягу спать. За ним приедут и повезут в Кремль, а потом сразу же постарается вылететь домой.

В 8 часов утра за Виктором Петровичем приехал референт Горбачева Фролов (или Ю. Воронов) и сказал, мол, надо ехать, пока то да се, Михаил Сергеевич освободится и примет. Пока

он еще занят, но ему доложили, что вы здесь, ждете приема. Стали пить чай-кофе. Виктор Петрович выпил чаю и пока пил, то от волнения или по привычке, оживленно размахивая руками, задел чайную ложку в стакане, она подпрыгнула и чай на галстук. Виктор Петрович огорчился, а Юрий Петрович утешил: чай — не кофе, галстук «нейтральный», сейчас мы его чуть подотрем, подсушим, и все будет нормально.

Вскоре сообщили, что Михаил Сергеевич ждет.

— Иду, — рассказывает Виктор Петрович, — разными коридорами, посматриваю, как насчет охраны — много ли? Нет, не много: в начале коридора и в конце. Открывают передо мной дверь и молча приглашают следовать дальше. И только у дверей кабинета Горбачева попросили предъявить документ — я показал паспорт, отковыряли и открыли дверь.

Кабинет строгий и площадью не с колонный зал, нормальный кабинет. Два стола: один довольно большой, в конце кабинета — для Михаила Сергеевича. Перпендикулярно к нему, чуть отступя, длинный стол. Здесь, видимо, проводятся заседания бюро.

Михаил Сергеевич с улыбкой поздоровался, спросил, где лучше сядем, чтоб не так официально?

Сели. Тут же подали Михаилу Сергеевичу и мне кофе, я не заметил, что Горбачев пьет кофе со сливками, а свой сливочник не увидел и выпил крепкий и очень ароматный кофе. Выпил и почувствовал, что у меня вроде волосы на голове задымались.

Михаил Сергеевич заговорил было — для начала — на отвлеченные темы, но я был готов к встрече и сразу сказал:

— Я пришел не для того, чтобы чего-то просить для себя. У меня необходимое все есть: есть свое место в литературе, есть квартира, семья, жена, достойная уважения. Я пришел говорить с вами о Сибири.

Михаил Сергеевич с улыбкой заговорил, мол, знаю, красивый край, природа, гидростанция — наблюдал с самолета.

— А вы лучше приезжайте, — сказал я, — и лично все увидите, и лучше не с начальниками в машину садитесь, а со мной — я вам покажу все, и хорошее, и, увы, безобразия, которые есть, творятся, и чем дальше, тем больше. Я знаю, что родная моя Сибирь — край прекрасный, но не делайте из него колонию. Непременно приезжайте! Я не буду злоупотреблять вашим и без того загруженным временем, вот позвольте подарить вам мою книгу и тем засвидетельствовать мое к вам уважение. — Обнял, сказал: — Храни вас Бог, — и с тем удалился из кабинета.

Вечером звонка от Виктора Петровича не было, значит, позвонит завтра. А завтра с самого утра было много звонков других, столько их было, что я от телефона к телефону бегала — у

какого ближе окажется. Панические звонки были от здешних, академгородковских физиков — институт физики расположен вблизи березовой рощи, а за институтом леса — это тоже близко, — сделаны посадки, теперь уже семнадцатилетние, бархатно-пробкового дерева, кедрачи уже окрепли, лиственнички окутаны зеленоватым туманом, но главное — березы. Прямые, стройные, толщиной в хороший кулак и помощнее.

И вот вчера явились трудяги с топорами и с пилами и принялись эту рощу сводить, да лихо так, с удовольствием, даже со злорадством! Дети идут со школы и давай в них камни кидать, давай кричать и плакать, особенно девочки. Они начали вставать под стволы, убеждать, что здесь даже дети, не говоря о взрослых, цветы не рвут... Митинги самостийно возникали. А нам звонили, чтоб Виктор Петрович заступился... Одним словом: «Плакала Маша, как лес вырубали...»

Ничего не помогло. 98 деревьев уронили, в понедельник нужно свести еще 200! А народ еще что-то об экологии говорит... Виктор Петрович однажды, отвечая на вопрос в анкете: «Почему ничего не пишете в защиту леса? (Теперь — почему ничего не пишете о перестройке?)», — ответил тогда, что он так много писал в защиту леса, что, не ведая того, свел, наверное, уже не одну такую рощу...

На образовавшемся пустыре — кладбище леса, пни березовые плачут соком. Дети то подбирают зеленые веточки, то уже прыгают с пенечков. Взрослые повсюду поразвесили лозунги-призывы, чтоб не трогали лес, что это чистое золото, что это краса земная и чистый воздух... Вчера многие криком клялись, что не пойдут на работу, организуют пикеты, но кто же захочет иметь неприятности на работе, и разве у нас что-нибудь подобное обходилось без штрейкбрехеров?!

А у меня и самой поводов для слез и переживаний, кроме этого, всеобщего, тоже предостаточно. Врач сказала, анализы плохие — много в крови сахара, очень свертывается кровь, снова открылся кашель, и она, врач, снова заикнулась, мол, возможен туберкулез... Господи, да откуда еще и туберкулезу-то взяться? Костный был — и вот результат — деформирована нога, но хожу же пока, слава Богу, и радуюсь тому, что в то время не было моды на мини, — попыталась отшутиться. А вечером опять в слезы: жалко себя, жалко Иринкушку, а уж внуков осиротевших жалко — и не сказать. Девятнадцатого мая сравнялось бы сорок лет нашей Ирине. Природа оживает, синеют и желтеют уже цветочки по склонам, а она никогда и ничего этого не увидит. «А вдруг если чувствует и страдает неммысленно... Встает, наверное, ее усталая душа, витает и никак не определяется, не утешится, не пристроит свою печаль».

В последний раз, перед отъездом Виктора Петровича, съездили к ней на могилку, погоревали, вернулись домой. Сидим друг против друга, стараемся есть, а слезы бегут, бегут, на хлеб, в тарелки, на стол. С тем и разошлись. Уж год прошел, как ее нет с нами, а в мире ничего не изменилось. Виктор Петрович говорит, мол, покупал всем подарочки и все ловил себя на мысли, что Ирине вот это — ей будет хорошо... И тут же как обухом...

Вот только что позвонили из Москвы, сказали, что Виктор Петрович перед поездкой за рубеж выступил в Академии наук блестяще! А мне он сказал, что пришлось выступать, а то выступавшие академики, впадшие уже в детство, — слушать неловко этих почтенных людей...

Наверное, так вот просто все и идет-свершается, как о том величайший Достоевский когда-то писал:

Когда дряхлеющие силы нам начинают изменять

И мы должны, как старожилы, пришельцам новым место дать —

Спаси тогда нас, добрый гений, от малодушных укоризн,

От клеветы, от озлоблений на изменяющую жизнь;

От чувства затаенной злости на обновляющийся мир,

Где новые садятся гости за уготованный им пир...

Я тоже в чем только не ищу стимула, чтоб не дать себе расклевтаться. Мои приятельницы не случайно все куда моложе меня, мне интересно с ними общаться, с неловкостью наблюдаю, как они помогают мне в делах по дому, но тут же и оправдываю как бы свое на то согласие — они, пока могут, помогут, потом им другие, даст Бог, будут помогать. Я слушаю их разговоры и иногда мотаю себе, как говорится, на ус, мне бывает интересно узнавать, как они воспринимают или реагируют на событие, информацию ли. Они часто мыслят по-своему, я же ловлю себя на мысли — почти как я, в их возрасте или настроении. От них я узнаю немало интересного, наблюдаю, как смело и решительно, иногда опрометчиво, но главное — смело и решительно разрешают свои затруднительные жизненные ситуации, короче, благодаря им да Виктору Петровичу — от него я явно или незаметно узнаю о многом: он очень начитан, остроумен, интересен в рассуждениях, — да иные телепередачи, что-то, услышанное по радио — все это помогает «быть на уровне». А дети — милые наши внуки — поднимают с постели, требуют к себе внимания, ласки и забот. Вот Полинка собралась в школу, скажет: «Баба, я пошла!», а я ей: «Ну-ка, покажись». Огляжу, как одета, обута, заплетена ли коса, все ли пуговицы на пальто, на кофточке, а она опять: «Ну, баба, я пошла!» — чмокну в щеку и бегу в кухню к окну, чтоб махнуть ей рукой ответно. Витя уж самостоятелен, чего велю, делает, сходит в пра-

чечную, за продуктами, на почту, пропылесосит, вон машинку пишущую отремонтировал. Молодец! Всякий бывает... как и все мы. Им же не всегда интересно с нами. Дед с ними мало общается, а они не могут еще внутренне, особенно Поля, согласиться с тем, что их дедушка — дедушка особенный, ни у кого такого нет! Хотя Поля, как оказалось, в школе уж нет-нет да и «kozyрнет»: «А я знаю, почему вы меня любите, потому что у меня дедушка...» За нашими детьми такого не водилось, Витек, думаю, тоже об этом сам никогда и никому не напомнит, а вот Полинка...

Конечно, у нас в семье пока, как в государстве: цены растут быстрее, чем зарплата, а у нас — внуки растут, но когда будут настоящими помощниками — не загадываю, зато норов паче разума... Однако теперешнюю нашу жизнь нам без них уже и не представить.

Сожалею, что на чтение времени мало совсем остается, если остается вообще, но стихи по-прежнему люблю и читаю их много. Когда я работала на себя, то есть писала книги, сидя за письменным столом, то и тогда «сочиняла» в полуночные часы, перед сном. Все спят, тихо, я и веду свое «сочинительство», а днем, если выдастся время сесть за машинку, — «для себя» сажусь уже «готовой», черновики у меня нет, правлю после машинки, и когда перепечатаю, доведу рукопись до дела, то все исчерканные страницы — в корзину, без сожаления — дома и так бумаг много. Сейчас я давно уж не занимаюсь творчеством, с одной стороны понимаю — литература проживет и без меня, с другой же стороны — эта «побочная» работа мне доставляла и удовольствие, вводила от повседневной суеты и беспокойства. А теперь возьму книгу, прочитаю несколько страниц, а потом начинает работать мысль: что завтра приготовить, что сделать, куда сходить, затеять стирку или уборку, погляжу, много набирается и тогда, как Скарлетт в «Унесенных ветром» тоже себе скажу: «А об этом я подумаю завтра!»

Так и живем. Вот еще год прожили. Будем встречать новый, 1990! Время-то мчится, как в войну шлоны на фронт...

Витя очень переживал в то время, когда он жил уже здесь, а Полинка была еще там, в Вологде. Она же, по существу, росла как бы на его руках. «Как-то вспоминаю, как с нею, с Полинкой, в магазин ходил: если в хлебный, то ее руку крепко сжимал в своей, чтоб чего где не ухватила, хотя все равно были случаи, я одну руку ее держу, сам складываю в пакет купленный хлеб, а у нее уже в руках батон и конец откушен!..» С нею и гулял, и подавал потихоньку, и развлекал, как мог и умел, опекал... Довели, говорит, однажды маму, а она только что купила, или я купил огурцы, длинные и толстые, здоровые, одним словом. Мы с Полякой раздурелись, она как дала мне по голове самым большим огурцом, и

он разлетелся на три части, как по заказу! И мы все, говорит, смеялись, а мама и наругать нас забыла. Ни тогда, ни сейчас их разъединить нельзя, уж взрослей станут — будет видно.

Вот только сегодня с Виктором Петровичем закончили подбирать рукопись пятого тома собрания сочинений для издательства «Молодая гвардия», в котором уже издавалось его четырехтомное собрание сочинений. Чего-то перепечатывала, чего-то расклеивала, что-то искала в разных сборниках и вот до позднего вечера выверяла все постранично.

По-прежнему часто бывают люди, разные, знакомые и незнакомые, нормальные и занудные, и чувствую, надо бы хоть предложить чаю. Когда Виктора Петровича дома не бывает, иногда и не приглашаю незнакомых-то в квартиру — нынче сделалось как-то очень тревожно жить, только и слышно: то в одном доме обокрали квартиру или две, то в другом.

Зато в последние два-три года почти исчезли из нашей с Виктором Петровичем «мелочи» жизни, которые так мешают и жить, и работать. Боюсь вроде поверить, но радостно думаю об этом постоянно. А нелюбовь моя к его деревне — тут, наверное, еще и вековое чувство, что краше и милее нет на свете иных краев и земель, кроме родной, единственной... Он вон даже в открытую, в газете, крупными буквами — как заголовок печатается, выделяется ли, сказал, что Пермь я не люблю... Бывает. Каждому свое. Я же так люблю участвовать в сложной и кропотливой работе вместе с Виктором Петровичем, к примеру, в составлении тома или книги, выбирать, в какой книге явно видится пристальная работа редактора при издании. Люблю работу, особенно люблю трудную, сложную и непонятную иной раз до невозможности из-за правки, потому что не знаю, что и как он сотворил, о чем; хотя по рассказам-предположениям вроде уже и знаю, но как оно получилось на самом деле — эта работа долгожданная и потому особенно интересная. И вообще, одно то, что я первая — единственная в мире! — перепечатываю его черновые варианты произведений и этим горжусь и даже как-то утверждаюсь в том, что доверяет, что соглашается или вразнос меня, что не так поняла и восприняла, но это редко, потому что при перепечатке черновика те места, которые читай, хоть вниз головой страницу держи, хоть наискось — не понять... Отец Виктора Петровича, бывало, стоит сзади, а я печатаю-разбираюсь, а он, может, спросить чего собрался или сказать и вот ждет-пождет, а я уж и через лупу... — и скажет: «Маня, брось! Сам написал, пускай сам и печатает. С ума можно сойти!.. Мне вот врачи сказали не нервничать, я и не нервничаю...»

Виктора Петровича дома нет, у меня подготовлено все необходимое для ремонта квартиры, не капитального, а так, косме-

тического, но... средней тяжести: две женщины белили потолок, клеили обои, меняли в туалете и в ванной настенные плитки, красили окна и двери. Они работают, то напевают чего-то, то переругнутся разок, потом работают молча или снова запойот, неторопливо, никого не стесняясь. А я у них на подхвате, ну и на кухне, конечно, потому что если связаться со столовой, то пока дойдут, пока в очереди постоят, пока пообедают, пока придут — полдня не полдня, а часа три-четыре уйдут впустую. А я-то стараюсь их накормить повкуснее да посытнее и спасибо заработаю, и они, увидев, что я уж за делом, тоже принимаются за работу — дело идет податливо.

Готовлю обед на кухне и по радио слышу что-то такое пронзительно-близкое сердцу, такое душевное, как будто для меня! Присела и продолжаю слушать — артист читает о том, как редко наши женщины слышат добрые слова «дорогая, родная, милая...» — и защищало глаза, хотя мне-то они, эти дивные слова, не часто, но перепадают. А мысли перебивают одна другую, на сердце тоскливо и удивительно... Передача закончилась. Диктор сообщает: «Главу из книги Валентина Распутина читал Яков Смоленский».

Посидела, еще чего-то ожидая, затем умылась и давай дальше. Сели обедать, одна из женщин спрашивает: «Чего, Семёновна, редела, че ли?» — «Да нет, лук чистила».

Живу эти дни все еще как бы оглушенная усталостью от ремонта. Слов нет, как тяжелы они, громоздки и надсады, всякие передвижения, перетаскивания, когда все имущество костром торчит среди комнат, — и всякий раз в таких случаях недоумеваю: как человек успевает в жизни обрести! Мне на подхвате надо было быть постоянно, Витя-младший помогал, как мог и умея, без свидетелей нет-нет да и поворчит на меня, линолеум резал, да так сноровисто, уверенно, будто давно уж набил на этом деле руку. Молодец! Я уж перед ним на цырлах, как говорится. Вон, забегаю вперед, отремонтировал мне электрическую пишущую машинку, часов, наверное, до двух ночи возился. Гладить, конечно, лучше по шерстке, а так может получиться — себе дороже.

Виктор Петрович приезжал на побывку из деревни домой — хотел выкупаться, а воды никакой. Поглядел, походил и сказал: «Ниче, посветлее стало». А сердце мое, изнурительно-усталое и взволнованное, пребывало на такой высочайшей ноте — вот-вот взорвется или замрет — от похвалы или от умиления, или восторга: «Во, как здорово стало!», или бы: «Ну и слава Богу! Теперь и в деревне ремонт сделан, и здесь порядок — можно жить спокойно». Но не последовало ни того, ни другого. И сердце мое, как пеликан в зоопарке, который часами стоит у кормки воды, не то дремлет, не то о чем своем думает, и дарит

ни с того ни с сего замашет отчаянно крыльями, прямо изо всех сил, как вертолет, вот-вот взлетит, разметав взмахами все вокруг. А он потрепыхается, потопчется да и отплывет, опустит вяло крылья, екнет селезенкой, поглядит на свое в воде отражение — и стоит дальше...

Мысленно сказала я тогда себе: «А ты, Маня, честолюбива все-таки!» Наверно, маленько есть, но ведь не я, Сомерсет Моэм сказал, что самый большой недостаток — не иметь недостатков вовсе... Значит, быть по тому.

Вот бы теперь отдохнуть — так самое время, сказала я сначала сама себе, а потом, причем не один раз, сказала и Виктору Петровичу, что сплавать бы снова на комфортабельном «Чехове», но не до Игарки, а из конца в конец, до Дудинки и обратно. Все прекрасно. Дети рады, мы — не меньше. Был этот отдых в удовольствие: на зеленых стоянках кто рыбачил, кто собирал грибы, если приставали у пляжа — взрослые и дети шалели от восторга и радости. Ребятишки наши и на дискотеки походили, и однажды Поленька до того дотанцевалась, что взмолилась: «Тетя Валечка! Возьми меня на руки, мне самой до каюты не дойти — устала очень...» Купались, загорали, ребята и в бассейне успевали душу отвести, и в кафе, то с нами, то одни. И как хорошо все получилось, что мы, не раздумывая, купили три каюты, сели и поплыли... Теперь-то уедешь с печи на полати, на хлебной лопате — валюты нет и, вообще, накладно. Зато память осталась на всю жизнь!

Закончила первую перепечатку первой книги романа Виктора Петровича о войне «Чертова яма». Представляю даже я, как еще много потребуется работы над романом. Но главное сделано: первая книга из трех, как предполагалось, написана, дальше, говорит он, пойдет полегче... Как же долго он готовился к этой работе! Как много начитывал мемуарной, документальной и другой литературы, думал над романом постоянно. Разбирает папки и блокноты, куда складывал или кратко записывал, о чем прописать, что уточнить...

Вот вчера снова заговорил о романе, говорит, такой страшный кусок написал! Так долго думал: как написать?

После я никак не могла уснуть, вспоминала Ирину и горевала и даже думала: было бы возможно, повидалась бы с нею хоть на часок, сказала бы ей, чего не успела сказать, может, утешила. Это уж от тоски все. Когда надобен покой, и чтоб были ровнее мысли и согласное с сердцем дело, чтоб воля, ум и благодать на каждый день и чтоб не так вот расставаться-разлучаться нам с Витей, когда так нужна взаимная опора и согласие, тогда бы и свету в душе больше, и усталость не так бы угнетала. Нелегко жить с таким внутренним настроением в такое смутное время...

Спать-то вроде и не спала, однако сон приснился странный:

будто бы нас с Виктором Петровичем уговорили снова пожениться, он согласился. Народу набралось много, и все пошли куда-то, а дорога грязная, скользкая, идти трудно... Я уж далеко отстала, села на ломаный ящик на обочине дороги и думаю: надо ли мне вообще идти? И решила: не пойду. Посижу маленько на камне у дороги, отдохну и вернусь домой, лягу спать...

А утром Полинку едва разбудила, чтоб собираться, завтракать да и в школу идти. Уж я ее и так, и эдак. Она не выдержала: выпростала руку из-под одеяла и как Наполеон выкинула ее в мою сторону: «Бабушка! Ну, скажи ты мне на милость, зачем она мне, эта школа, сдалась?!» — и отвернулась.

Лето прошло мимо меня: занималась технической подготовкой собрания сочинений Виктора Петровича в четырнадцать томах. А до этого дважды, может, если выборочно, то и больше, перепечатывала рукопись первой книги романа «Прокляты и убиты». Виктор Петрович долго готовился, долго и многотрудно писал эту книгу, а я, наверное, не менее трудно и изнурительно долго ее, рукопись, перепечатывала, и, что редко случалось, — в этот раз я устала от текста. Мне не все в «Чертовой яме» — так названа первая книга романа — нравится, особенно тем, что в ней много мата, а я не люблю, когда и сам Виктор Петрович в разговоре употребляет подобное, а тут сплошь да рядом, и конечно же, сказала ему об этом, сказала, что он так великолепно пользуется словом, так богат и емок русский язык, что никакой мат не выразит мысль, состояние или действие сильнее, чем слово, которое он, бывает, доводит до звона — делает таким, какого вроде бы и в природе не бывает, а у него бывает, и эта пронзительность слова, то ли в сочетании с другим, то ли в таком случае или «к месту», когда большинству писателей и страницы не хватает описать или передать то, что он вместит в это созвучие. Сказал, мол, тут без этого не обойтись... Зато спустя время, когда Виктор Петрович посылал для прочтения еще рабочий вариант рукописи Евгению Носову, тот так убедительно и резонно написал об этом же, как только он, высочайший мастер слова, мог высказать.

Здесь бы в пору, может быть, и привести целиком письмо Евгения Ивановича, но я этого в своем повествовании не делаю по причине того, что у нас хранятся папки с письмами писателей: Е. Носова, А. Борщаговского, В. Быкова и многих других, также весьма содержательными и интересными, кроме того, есть папка с разовыми письмами, тоже заслуживающими особого к ним интереса и пристального внимания, на которой так и написано: «Хранить дома». И, значит, либо приводить их все, либо пусть «живут сами по себе», как есть, в отдельных папках. Еще же хранятся у меня письма Виктора Петровича ко мне — до единой бумажки, за исключением тех, которые я вынужден-

но «лишила жизни» и теперь иногда о том сожалею, иногда думаю иначе — не всем и все надо знать — это наше.

Теперь я вернусь к работе над собранием сочинений Виктора Петровича в четырнадцать томах.

Только я закончила перепечатку рукописи романа, Виктор Петрович сообщил, что через три дня приезжает редактор и тебе, мол, надо будет вместе с нею подбирать книги, сборники — все, что издавалось и публиковалось за все годы моей творческой работы. Он уже переехал, так сказать, на «летние квартиры», то есть в деревню, на мне дети, дом и вот очередная предстоящая работа. Должна заметить, когда Виктора Петровича не бывает дома, мы с детьми одни, то и обеды попроще, и визитов меньше, и звонков, и есть повод отговориться, мол, осенью либо зимой, или еще когда. Я, как говорится, с утра пораньше и до глубокой ночи в оставшиеся эти три дня шарилась по полкам и стеллажам, таская за собой стремянку, выбирала книги и раскладывала их на раздвинутом столе по годам, на подоконнике, на креслах, на диванах — всюду, затем выбирала и так же, в хронологическом порядке, размещала сборники, журналы не только с публикациями художественных произведений, но и публицистику, и драматургию, и стихи, и переводы (переводил произведения авторов пишущих на языках других народов, много переводил болгарских писателей).

Приехала редакторша, увидела «наличие» и ахнула, как в свое время, когда отмечали 50-летний юбилей Виктора Петровича и в Вологде, в библиотеке имени Батюшкова, была в одном зале организована выставка книг, журналов, сборников — он ахнул и сказал: «Господи! Сколько я бумаги-то извел!»

Так и редактриса. Сказала, что представляла себе, какая предстоит работа, но вроде не в таком все-таки объеме. Но есть как есть. А собрание сочинений предполагает быть изданным по классическому образцу, то есть с самого первого издания и всеми последующими, дополненными, прописанными, измененными, включая сокращения цензурного порядка.

Мы с нею, очень опытной и все понимающей редакторшей, сидели с шести утра и до глубокой ночи почти десять дней, это при том, что она профессионально быстро читает и творчество Виктора Петровича знает как никакой другой редактор, — она и шеститомное собрание сочинений его ведет. Три тома уже вышли к этой поре, четвертый вот-вот, пятый — недавно вычитала верстку. Когда она закончила «расписывать» тома — в какой что должно войти, принялась описывать подробно оглавление каждого тома, что нужно допечатать, перепечатать, что можно бы и машинистке отдать, а что, мол, только вы сможете... Затем просматривали сотни фотографий: подбирали порт-

ретные — для каждого тома, чтоб в соответствии к периоду изданий — одну из двух, которая пойдет для ретуши и пр., а вторая — на подстраховку. Съездили в Овсянку, и они вместе с Виктором Петровичем согласовали содержание томов. Виктор Петрович написал вступительную статью, огромную, под названием «Подводя итоги», затем писал комментарии — истории написания и прохождения в печать отдельных изданий, входящих в тот или иной том... Проделал титаническую работу.

Когда я проводила редакторшу в Москву, благодаря ее за то, как нам хорошо и на полном взаимопонимании работалось, распрощалась с нею, и грустно мне стало. А грустить-то некогда особо. И я принялась «рвать по живому» нужные книги, да каждую в двух экземплярах, в общей сложности, наверное, штук 240, если не больше. «Разобрала» я те книги, обривая ножницами кромки страниц — убрала неровности после брошюровки — и принялась делать расклейку.

И клеила, и клеила, чаще занималась этим в ночные часы, когда не надо подбегать к телефону, открывать кому-то дверь, кормить, варить, стирать, убирать, значит, за счет сна, и работала очень напряженно — внимательно, чтоб не спутать страницу, не спутать лицо с изнанкой, то есть той стороной, которая уходила вниз, под страницу, иначе придется из-за одной спутанной, неправильно расклеенной страницы разорвать еще книгу... Едва вместила в 28 папок! Когда закончила с расклейкой, даже заплакала, не от чего-то такого, а от усталости, от жалости к себе, что ли. Но ведь и это не все. Виктор Петрович написал вступление «Подводя итоги», это 180 страниц, это перепечатка, затем ему работа над текстом, затем перепечатка, затем еще работа, еще перепечатка... Шутка ли: это результат его творческой работы за 40 лет! Слава Богу, и эта работа сделана, теперь все будет зависеть от дел в издательстве, а нынче во многом, в том числе и в работе издательства, все непредсказуемо... Ну, будет как будет, все остальное уже, увы, не в воле Виктора Петровича. Остается надежда.

Нынешний, 1991, год нам, похоже, радостей особых не сулит, но мы все равно благодарим год минувший — в нем было все, в смысле трудностей, нездоровья и многого другого, но у нас нашлись силы что-то пережить, что-то, насколько возможно, сделать для того, чтоб отвести боль и напасти, большие и маленькие.

5 января 1991 года помянула Петра Павловича — отца Виктора Петровича — ему в этот день сравнялось бы 90 лет.

Захворала ослепшая тетка — младшая из сестер — Августа Ильинична Патылицына (прежние фамилии ее по мужьям — Шамова и Девяткина — редко кто из родни поминает, значит, и

для меня она Патылицына) — последняя из теток Виктора Петровича, заболела, кажется, опасно, видеть, подходят к кону и ее земные сроки... Я очень понимаю Виктора Петровича, какво потерять последнюю тетку, и остается ближняя родня — это жена Николая Ильича, Анна Константиновна, да Галя, их дочь, которая живет-мается между городом и деревней, потому что и Анне Константиновне на будущий год стукнет 80 лет, даст Бог, доживет, а это немалый срок прожитой ею трудной, часто непосильно трудной жизни.

19 мая день рождения Иринишки, нынче ей был бы 41 год, и горькое совпадение: она и умерла тоже 19 числа, только в августе, покинула и детей, и нас навсегда.

Вон Витя пришел, в кино, говорит, ходил, посмотрел американский приключенческий фильм. Отправился на кухню — проголодался, потом посидел за уроками, потом, сказал, погуляет, снова поучит — почитает чего. У него нынче пять экзаменов! Переживаю больше, чем он сам. Поговаривают о поездке в Вологду. Сдай, говорю, экзамены и поезжай. А он — так билеты же заранее заказывать надо. Ну, закажем, говорю, а если спотычка со сдачей выйдет, так билет сдать легче, чем заказывать. Он плечами повел, я головой — на том пока и порешили.

Снова пришлось ложиться под капельницу — не стала с этим делом тянуть дальше, — подлечусь и, надеюсь, буду приговорена жить дальше...

Подбираю сборники-стихов, складываю к изголовью у кровати на стол и буду почитывать на сон грядущий. Подумала было, что, пока ребята на весенних каникулах, отосплюсь и я, почитаю побольше, сделаю побольше, но Виктор Петрович на несколько дней растянул подготовку к поездке на премьеру спектакля по своей пьесе: приглашал знакомых, уточнял, кто желает ехать поездом, кто самолетом. Когда приглашенных набралось пятнадцать душ, принялся хлопотать насчет билетов, это когда нужен один билет, да депутату, — всегда пожалуйста, а когда много — возникли осложнения. Наконец-то купил на всех билеты, тут же начались хлопоты с транспортом.

Тридцать первого отбыли в Минусинск, первого июня состоялась премьера, а второго Виктор Петрович вылетел в Абакан и оттуда в Москву, на «Римские встречи». Пока «ничего моряк не пишет...», значит, в здравии и благополучии.

Бесовская политика, от которой ни днем ни ночью нигде нет спасения, сопутствует теперь уж и в праздники, и в будни. Наверное, не одну меня покинул дух оптимизма, но и дела — заботы житейские закручивают все больше. Нам, в нашем возрасте, воспитывать осиротевших внуков все сложнее, и это тоже естественно. Вот у Вити проснулась возрастная пора, когда жела-

ние нагрубить, ослушаться, спокойно выслушать замечания, сильнее, нежели доброта, легкость, непосредственность. Ну да что теперь? Пока растут дети как дети, как у большинства живых родителей. Жалко и огорчительно, что дед часто конфликтует с ним. Я уж решила, коль дед уезжает, то приготовлю чего немного, накрою ребятам стол в комнате, а мы с Валентиной Михайловной да с Эммочкой накроем себе стол в кухне, поставим на скатерть красивые тарелки и рюмочки, закуску и будем попивать коньячок да наговоримся от души. Но Виктор Петрович, собравшийся лететь на рыбалку, в последний момент передумал, сдал билеты, зашел к кому-то и явился домой под шафе и, вместо того чтоб поздравить, расходился: «Никаких гостей! Никакого праздника! Всех выкину! И тебя тоже!» — зыкнул он на меня. — «А кто же ему, Вите, устроит праздник, если не мы?» Витя чего-то сказал ребятам — и они ушли. Оставшись одни, я прямо и серьезно сказала: «Витя, если не умеешь вести себя прилично, когда выпьешь лишнего, то ложись спать, а не порти всем праздник. Куда чего и делось от твоей бывалой веселости? Мы не для этого сирот брали к себе...»

В это время позвонила из Минусинска Тamarочка. Она всегда кстати, всегда более чем желанна и вот приехала! Успела еще сказать, что Вите подарочек везет. Я и сказала, что он уже получил... от деду.

Я говорила о том, что мы с ним, с нею и ее мужем Александром Павловичем, тоже актером, знакомы еще по Вологде. Она в спектакле «Прости меня» играла Смерть. Спектакль был удостоен Государственной премии, но наградили не ее, а другую актрису, а ее нет — «отрицательный образ»...

На столе у Виктора Петровича лежит раскрытая рукопись первой книги романа, и он нет-нет в нее заглянет, правит, дорисовывает. Пишет и «затеси» — они помогают ему как бы разгрузить голову и сердце. Недавно по просьбе одного егеря написал для «Известий» большой материал в защиту Сибири. И я снова сидела за машинкой, работала напряженно.

Сказала ему, что так работать нельзя (и ему, и мне): двадцать пять страниц плотного машинописного текста — первая перепечатка рукописи, много правленная, когда буква на букве, строка на строке. Сказал, мол, так нельзя, конечно, да вот попросили... и тут же: «Я стал так трудно и напряженно работать, что и не знаю, хватит ли сил для романа...»

Как-то приехал в деревню к Виктору Петровичу гость — руководитель огромного предприятия. Они незаметно и давно уж привыкли общаться друг с другом, и Виктор Петрович предупредил, мол, не больно в новом-то костюме на этот стол облакачивайся — извозишься весь, сейчас газеты принесу, чтоб по-

достать. А стол тот, уж так много повидавший всяких «реконструкций», крашен слой на слой, и чего на нем только не делали, даже гвозди выпрямляли, а тут еще пыль, грязь вековая, вьévшаяся. А гость ему в ответ:

— Нет, уж лучше я новый стол тебе привезу.

Раз от раза он примечал все новые неполадки, халтурное дело, и с помощью его рабочих, отряженных бригадой, нам сменили двери, электропроводку... Много, во многом он помогал, отрядив рабочих, вплоть до дров! Не перечестъ всего. Я, пряча слезы, благодарю его, а после подумала: есть крайком и крайисполком, взяли бы вырешили машину для Астафьева, на два раза в неделю. Наши шоферы, кроме Иннокентия Ивановича, горазды были только растащить какое добро из гаража, вплоть до колес, даже лампочки вывернули, затем «наработают на себя», пока машина тянет, запустят ее, поломают, сунут нижним соседям ключи, чтоб передали нам, — и след простыл!

Теперь уж и вовсе нашей пенсии не хватит, чтоб шофера содержать и машину привести в порядок; так и стоит как сиротинка в деревенском гараже, давно «обсохшая» и покинутая... А нам и нужна-то машина в основном в летнюю пору, потому что жизнь идет между городом и Овсянкой и к кому ни обратиться (а как неловко попрошайничать-то!) — и слышишь: то бензина нет — и это суцная правда сплошь и рядом, — то какие-нибудь увертки, мол, то одно, то другое — деньги брать с нас неловко, вот и опять неразрешимость проблемы, а ведь по-человечески как было бы все просто разрешить: платим же мы за свет, квартплату, за телефон, за разговоры... Да вот поди ж ты. А другие начальники — прости Господи, — может, в душе и злорадствуют, мол, пусть сидит или придет... и всякий раз с поклоном и тысячей извинений... А тут уж заговорили, засуетились, как да что — насчет юбилея Виктора Петровича, пообещали пенсию пожизненно, так она у Виктора Петровича и так пожизненна, или эту отобрать, другую выделить — как высокую награду... Вон в Овсянке библиотека недостроенная стоит — кончились деньги, значит, могут найтись «смельчаки» и по винтику, по кирпичику эту библиотеку. Одна школа на весь Академгородок, в классе по тридцать восемь человек и дышать нечем, а числится еще одна, которую захватили псевдоученые, уж не в обиду им, но дела-то там никакие почти не делаются, а ребятишки — в школе-душегубке... Эти настоятельные инициативы Виктора Петровича, и не только, а помощь немалая — не могут сдвинуть с места руководство, новые дома строятся, а ребятишкам хоть куда... И это в голову никому не приходит. Говорила с Р. Солнцевым, чтоб помог выселить «квартирантов» и отремонтировать школу — пока он «у руля». Тоже ответил, мол, разговаривал с учительницей, хорошей... Да что же та учительница сможет изме-

нить?! Виктор Петрович много лет бился, чтоб прекратили сплав леса по реке Мане, — и добился, но выше, в притоках, установили драги и получилось: хрен редьки не слаще...

\*\*\*

Прочитала в журнале «Нева» Дм. Лихачева: «Как мы выжили?..» Боже мой, как чудовищно страшно! И то, что Виктор Петрович когда-то высказал в своем интервью на страницах центральной газеты по поводу того, нужно ли было отстаивать Ленинград такой ценой, такими неисчислимо огромными потерями человеческих жизней, Дмитрий Сергеевич подтвердил это в своем повествовании, сказав о том, что пережил сам.

С наступлением непогоды сильно заболела моя больная нога, так заболела, что я не знаю ее куда положить, даже сердце устало от этой боли, и я все уговариваю себя: «Потерпи маленько. Погода наладится, дела поубудут...» А дела делаю где стоя, где сидя — как придется. Постоянно думаю, не дай Бог, слягу, и тогда Виктор Петрович, расходуя время на быт, многое не напишет, не создаст, вот и лезу из кожи...

Нынче у Виктора Петровича вышло книг грудно, как он говорит, да все со звериными названиями: «Улыбка волчицы», «Медвежья кровь», «Тихая птица». К тому времени вышли уже два тома собрания сочинений (из шести — два). Но тираж... «Тихая птица» — прекрасно изданная книга 30-тысячным тиражом на такую-то страну!

Написал две главы к «Последнему поклону»: «Разудалая головушка» и «Вечерние раздумья».

Побывал в Голландии, на книжном фестивале, выступал там с докладом. Был он там в самое тревожное во всех смыслах время: фестиваль проходил с 17 по 22 августа. Без него отвели годовщину нашей дочери Ирины. Поехали на кладбище пораньше, чтоб успеть посмотреть по ТВ передачу о нем, а затем сесть за стол, чтоб помянуть дочь, попечалиться, повспоминать, поговорить. Не успели, как говорится, обопнуться — войти в квартиру — спешит нам навстречу растерянная, побледневшая Галя — сестра Виктора Петровича. Она оставалась готовить и дрожащим голосом говорит: «Что же вы так долго ездили, в стране-то переворот...» — и сбивчиво попыталась рассказать, что к чему.

А Виктор Петрович в Эдинбурге, и в голове у меня одна чудовищная мысль: только выйдет в Москве из самолета — его сразу же под белы ручки... Андрей с Женей как раз были у нас. И после, о чем бы ни говорили, чего бы ни делали, все сворачиваем и в мыслях, и в разговорах к перевороту. Слава Богу, Виктора Петровича в Москве встретили друзья, приятели и вот проводили домой.

Вот и наступил еще один новый год. Теперь уж 1992-ой. Еще на год жизнь сделалась короче. Виктор Петрович успел уже побывать в Китае, а китайцы, как и японцы, да и другие буржуи, зазя денег на приглашения не тратят, надо отработать от и до. Однако Виктор Петрович выбрал время и написал мне оттуда три письма. Молодец! Написал на папирусе. Когда приехал, увидел гору всякой почты на столе, вздохнул, «выразился» и почти сразу же собрался сесть за стол. А ребята ко мне: «Бабушка, а почему дед нам ничего не рассказывает про Китай?» Говорю, привез подарочки, радуйтесь и не досаждайте — он же еще не отвык говорить по-китайски, как вспомнит, как по-русски разговаривают, тогда и заговорит, тогда и слушайте!.. Витек похохатывает. Полинка чистосердечно и жалостливо восприняла бабушкин бред за чистую монету и принялась жалеть деда: то тапочки подаст, то воды попить принесет, то за почтой сбегает, и, конечно же, не совсем уж за просто так, хотя бы за конфетку. Хитровая девочка растет, но и ласковая.

Виктор Петрович по-прежнему дома бывает редко: то в деревне, то в разъездах. Конечно, когда его нет дома, меньше звонков и визитов, но его, Виктора Петровича, не хватает, иной раз всю квартиру обойду — нет, и все, и только потом вспомню, так он же уехал. Днями по ТВ брали интервью у Ильи Глазунова. У меня отношение к нему разное, но то, что умен, — нет сомнений. Отвечая на вопрос: верит ли он в то, что Россия воспринет? — ответил, что верит, что Россия никогда ни у кого не была колонией, что русский мужик за свою историю, за свою жизнь не раз «стонал», но с самоотверженностью, ему лишь присущей, да с Божьей помощью находил в себе силы, вставал, укреплялся — и земля опять делалась его надежной опорой, кормилицей и поилицей, когда крестьянин не уставал кланяться ей в труде до пота лица. И только горько недоумевает, когда художники — они же ближе ему по творчеству — рисуют цветочки, ягодки и прочее, тогда как нужно в живописи отражать бытие соответственно, чтоб вызывало людей на раздумья...

Посмотрели по ТВ передачи: «Три встречи с Астафьевым». Хорошие передачи получились, главная в том заслуга — сам Виктор Петрович: говорил умно и мудро, держался непосредственно, от вопросов и раздумий не уходил. Наиболее содержательной, на мой взгляд, получилась «Первая встреча». В третьей все-таки есть повторы — что-то уже отснято было кинорежиссером М. Литвяковым. Но все равно все хорошо, и из писателей, по-моему, вроде еще ни с кем такого откровенного диалога в прямом эфире не было.

Первая книга романа «Прокляты и убиты» под названием «Чертова яма» С. М. Залыгину понравилась (в общем), но есть

претензии. Рассчитывают печатать в 10-11-12 номерах, а до этого будет редактура. Думаю, все обойдется — Виктор Петрович не из тех писателей, кто легко идет на компромиссы. Говорит, если что — заберу рукопись и в другой журнал. С.П. Залыгин, многожды объявлявший о публикации романа в «Новом мире», на это вряд ли пойдет.

Виктор Петрович тоже съездил на Урал, но приехал далеко не с таким восторженным впечатлением, как я после своей туда поездки. Ну да это, наверное, вполне естественно.

Тетка Августа, последняя из теток Виктора Петровича, умерла. Я плохо себя чувствовала, его дома не было, значит, поехала я. Потом приводила в порядок уже вечный приют Иринушки, мыла памятник, чистила, да и простыла не ко времени. Затем готовилась принимать гостей в честь дня рождения Виктора Петровича, сам он приехал утром этого дня. После Радоницы Виктор Петрович с другом своим неизменным, Володей Зеленовым, улетели на Север...

Мне вроде бы совсем еще недавно казалось, что жизнь такая большая, длинная, и до «моего предела» еще далеко, как до горизонта. Но годы идут, здоровье и силы убывают, жизнь убывает, и когда вдруг безжалостно разольется по сердцу боль и в голову отдаст, и по всему телу, тут и забрезжит мой «земной предел», тут же посетит тоскливая мысль: какая бы она, жизнь, ни была, иногда подлая и несправедливая, однако не появляется желания судить свою жизнь и судьбу, судить близких и неблизких за то, что я так страдаю...

Давно еще где-то вычитала, будто в Индии говорят: «Будь бесстрашен, будь силен. Если есть грех на свете, так это — слабость. Слабость — это грех, слабость — это смерть. Все, что делает тебя слабым физически, интеллектуально отвергай, как яд — в нем нет жизни...» Слов нет, как важно и хорошо быть сильным, но чтобы отвергать все, что делает тебя слабым, — на это тоже нужна сила...

Как-то звонил из Москвы главный редактор «Культуры», спрашивал Виктора Петровича, не сможет ли он написать к юбилею композитора Г. Свиридова? Сказала, что спрошу, вообще-то, они очень симпатичны друг другу и, наверное, смог бы написать. Спрошу. Далее Альберт Андреевич спрашивает, как отнесся Витя к публикации о нем Ал. Михайлова «Живет в Сибири писатель»? Говорю, что в Красноярск этот номер газеты не поступал и мы прочитали материал в Сашином рукописном варианте. Беляев возмутился: «Ах, как плохо работает у вас почта!» — «Дело не в почте, — сказала я, — а в том, что живет в Сибири такой писатель...» — и попросила прислать несколько экземпляров.

Вечером слушали прекрасную музыку — виртуозы Москвы во главе со Спиваковым. Так играли! А потом дети, которых он где-то углядел, подслушал и вот... Как же они славно играли! Потом сообщил, что этому маленькому скрипачу он подарил скрипку, а этой девочке — фортепьяно... Не выключаем ТВ, ждем, чего еще будет? Но наш пострел везде поспел! — заговорили уже политики, наши и не наши, чего-то делят, поучают. Нам так грустно сделалось, и Виктор Петрович сказал:

— Ведь музыка, как и растения, принадлежит всему миру, всему человечеству, а не одному государству, не одной территории, не одной личности. Музыка и природа — самые демократичные из всего того, что есть на свете... А мне опять подумалось: «Боже мой! Чего только нет в этой седой головушке?! И как ему трудно. Все, о чем он пишет, мыслит, говорит, — естественно, только не надо быть глухим и равнодушным ко всем и ко всему... Дал бы Господь здоровья да крепости духа — для жизни и работы, и для нас, так его любящих».

Не успели оглянуться, а завтра летний, такой желанный день еще потопчется на месте и незаметно, однако, не мешкая, пойдет на убыль. Эта неизбежность печалит меня очень, особенно теперь, когда жизнь сделалась вовсе скоротечной. А я все еще собираюсь пожить со своею душою на вы...

Днями приезжают в гости сын Андрей с внуком Женей, переживем уж в который раз глубокую печаль — шесть лет сравняется, как нет с нами и со своими милыми детьми нашей дочери Ирины. Затем — мой день рождения, вроде бы и порадоваться нечему, но дал Господь мне такую большую жизнь и как мне Его за это не благодарить и как не попросить, чтоб Он даровал еще жизни — это уж ради и для внуков, значит, и сил, и крепости духа сколько возможно, чтоб я побыла еще пока никому не в тягость, а способна на посильные дела, чтоб полюбовалась еще белым светом...

Виктор Петрович получил два приглашения в зарубежные поездки: в Швейцарию и на теплоходе — в Италию, Турцию, Грецию и Израиль. Я за него буду рада, если он будет способен на поездки, чтоб потом наслушаться — «что за чудо есть на свете?..»

А я, если выберется время да позволит здоровье, «досылом» еще кое-что написала бы. Пока же запустила не только домашние дела, но и, к большому сожалению, затянула дело с перепечаткой второй книги романа о войне — «Плაცдарм».

Внук Витя закончил 11 классов и поступил в техникум на факультет «Финансы и право». Поинка нынче «прыгнет» из третьего класса в пятый! Будет ли из этого толк? В октябре этого года, если доживем, сравняется сорок восемь лет нашей супружеской жизни с Виктором Петровичем.

Я пока и не представляю, что получилось у меня за повествование — не было времени ни остановиться, ни оглянуться, даже подумать — только напряженно работала моя память, иногда с большими перерывами, да дневники помогали.

Кроме перепечатки рукописи романа, а это более пятисот страниц, работа и над этой рукописью, такого же, наверное, объема. А мне и самой не терпится как бы зрительно пройти по своей жизни, разглядывая, сопереживая, радуясь и печалься, наблюдая ее со стороны.

\*\*\*

Совсем недавно, когда у Виктора Петровича выдались «промежуточные» дни — делал очередной заход на рукопись второй книги романа, — он писал ответные и деловые письма и попутно искал привезенные из Овсянки документы (военный билет) и немногочисленные заметки, чтобы написать небольшой очерк о Филиппе Кузьмиче Жуковском, долго, наверное полжизни, работавшем в сельском магазине и недавно покинувшем земные пределы. Много раз принимался искать — все бесполезно, как сквозь землю... Тогда принялся разбирать, просматривать залежавшиеся записные книжки, которые вел время от времени.

И нашел тот злосчастный военный билет односельчанина и наброски «затесей», отложил и несколько исписанных разных листков, предполагая использовать их в романе, но теперь книга «Плაცдарм» — вторая, обошелся без них и вот принес мне — я работала на машинке, — мол, посмотри при случае, что дерзок был и в давние годы... Я, конечно же, прочитала их. Прочитала и удивилась: будто ему уже известно, что я работаю над рукописью своей книги, работаю «тайно», чтоб подарить — ему в его приближающийся юбилей, поскольку книга, названная «Знаки жизни», — это повествование о нашей прожитой с ним жизни, — недавно разменяли сорок девятую годовщину!

Вот одна из заметок: «Странная жизнь, — пишет Виктор Петрович, — ударь осколок меня правее на палец или будь на излете — и меня не стало бы. И мое место на земле исчезло бы, и не было бы моих детей и внуков, жена моя была бы не моей женой, и все было бы не мое... сгребли бы в кучу с другими убиенными солдатами... даже затопили то место, где я был ранен за Днестром, а люди как-то не понимают этого, люди думают, что их это не может коснуться, да и то — привыкли: мертвых на земле было больше, чем живых...»

Вторая заметка: «А мне и моей жене никакая партия и правительство ребенка не вернут (это о нашей первой доченьке, прожившей на свете полгода, — уморили голодом — я об этом подробно написала в «Урале», первой части книги). И я не прощал и

не прощу его ни нашим вождям, ни тем, что были до них, никаким партиям, в том числе и лучшей в мире, на словах, партии, которая на деле этого никак не доказала, а даже наоборот — это они тысячи лет убивали мое дитя, шли неумолимой поступью к его деревенной колыбели, и тем вождям и партиям, что еще пребудут, — я тоже не прощу своего ребенка, ибо вместе с моей девочкой они оборвали и обрывают жизнь ее детей, ее внуков и правнуков — пока есть вожди, все будут гибнуть невинные дети, пока есть и будут править дармоеды и проходимцы в комиссарских штанах и с дряхлой идеологией, говорить пустые слова и ради них проливать чужую кровь и убивать не своих детей...»

Запись третья: «Нынче исполнится сорок лет, как мы пожелали на войне и хвастать тут никакого повода, конечно, нету. Будь бы мы обеспечены жильем, едой и прочим довольствием, так мы бы тоже, как нынешние молодые, — расходились бы да сходились, разнообразя унылую жизнь. А так вот: война соединила, нужда сдружила — бороться с нуждой вдвоем легче, вот и дожили до старости. Мне бы за такую прочность жизни благодарить наших отцов-командиров и самого покойного генералиссимуса, которые, как и во веки веков это делалось, предали нас после войны, бросили на произвол судьбы, может, даже и не предали, а радуясь нами добытой победе, загуляли, завеселились, не зная уж, чем себя наградить и куда себя посадить за такую доблесть, при которой они воевали один к десяти, да и послевоенные потери, превышающие военные, должны наши «отцы» взять и записать на свой счет — слишком много они нам обещали, слишком быстро забыли об этих обещаниях. В результате победа, добытая нами, обернулась нашим поражением. Во всем».

Запись четвертая: «Право жить и быть нам вместе — никто не дарил. Нам никто ничего не дарил, только жизнь под небесами подарила да сохранила крестная жены да тетя Тася — это они кое-что по мелочи дарили нам. Вместе нам никогда не было скучно, неинтересно, и мы никогда никому не жалобились, и если я гнал ее от себя, порой грубо, то это от усталости, от душевной перенапряженности, быть может, от эгоистического мужского желания остаться «страдать одному» и жалеть себя за это страдание.

В минуту светлую и добрую я сказал, что раз уж смерть неизбежна, нам бы умереть в один день, в один час и в одну минуту — мы заработали и выстрадали и это право. Я и сейчас готов повторить те слова, хотя уж мало им доверяю и знаю, что слова ничего не стоят в нынешнее грешное время, когда и жизнь-то сама для многих потеряла всякую цену и смысл...

И душа моя тихо плачет и сетует, и как жаль, что не дано нам о чем-то пожалеть загодя...»

Хотелось бы в завершение привести стихотворение, посвященное конкретно нам с Виктором Петровичем. Вообще-то, их немало, но «попросилось» в рукопись только одно. И одно — из лирики Н.А. Некрасова.

Роман Солнцев

Марии Семеновне и Виктору Петровичу Астафьевым

Подумать только — вместе сорок!  
Пройди-ка сквозь огонь, изволь,  
Когда невеста — будто порох,  
Когда жених — как будто соль.

Прошли, прошли по мертвым странам,  
Потом вернулись на свою  
И сохранили, как ни странно,  
Любовь у горя на краю.

Ведь жизнь — она ломает круто:  
Нет крыши, детям молока...  
Но сохранили, как ни трудно,  
Они и веру на века.

Пусть не иду, шутя по водам —  
Былым связистам вышла масть  
Соединить народ с народом,  
И с совестью вот эту власть.

Подчас я слышу в океане  
В эфире черном средь планет  
Негромкий голос: — Маня, Маня!..  
И звонкий: — Витенька!.. — в ответ.

Судьба писателя в России  
Всегда была, Господь, прости,  
Попыткой, не сгибая выи,  
Сойти на землю и взойти.

Там позади их тьма осталась  
Болезней, гибельных почей...  
Но верная жена смеялась —  
И отступал седой Кощей.

Так пусть в снегах, в утрюмом быте  
Нам будет радость и в пример

Их переключка: «Маня?.. — Витя?..»  
Из ФРГ в СССР.

Вы в небе, гады, запишите  
Магнитофонные слова:  
Пока едины Маня — Витя —  
Окститесь, милые, сперва!

Перо пока что держат руки,  
И в сердце не слабеет свет.  
И подрастают шумно внуки.  
И смысла в распрях точно нет.

Осень 1985 г.

\*\*\*

Вот неполный перечень книг Виктора Петровича, которые он мне дарил с автографами. Первый автограф был на книге «Перевал», вышедшей в 1960 году в Свердловском книжном издательстве. Вот что он написал:

*«Старушонке моей — Мане, с которой не один пуд соли съеден. И сахару — тоже».*

Второй автограф — на книге «Звездопад», вышедшей в Москве в 1962 году: *«Самый дорогой мой подарок первому моему помощнику и терпеливому слушателю, постоянному вдохновителю — Марье моей».*

Третий автограф Виктор Петрович оставил на подаренной мне книге «Последний поклон», вышедшей в 1968 году в Пермском издательстве. Он написал: *«Помощнику моему, другу верному и нежному — Мане — мою самую любимую книгу, с любовью и пожеланием здоровья и покоя, да чтобы Андрей скорей вернулся (из армии).»*

Четвертый автограф я получила от мужа с дарственной надписью на вышедшей в издательстве «Молодая гвардия» в 1972 году книги «Повести о моем современнике»: *«Мане! С любовью эту долгожданную книгу и дорогую нам обоим (выстраданную).»*

Пятый автограф — на книге, вышедшей в «Художественной литературе» в Москве, под тремя названиями на обложке: «Стародуб», «Кража», «Пастух и пастушка», 1976 год. Вот что он написал: *«Марье свет-Семеновне — уже полноценной бабке, желая счастья ей в этой новой роли, а внуку — бабушкиного сердца и человеколюбия, тогда и он проживет наполненную смыслом и радостью жизнь».* (У дочери Ирины родился сыночек Витя).

Шестой автограф — на книге «Избранное», вышедшей в 1977 году в издательстве «Молодая гвардия». Вот что написал

мне Виктор Петрович: *«Дорогой Мане — с неизменной любовью и уважением, с надеждой подарить в скором времени не только «Избранное», а все пять томов сразу! Будь здорова, спокойна — вдогон «Царь-рыбе».*

Седьмой автограф я получила на книге «Царь-рыба», удостоенной Государственной премии России им. М. Горького. 1977 год, «Советская Россия»: *«Дорогой Мане — сердечно! — написал он мне и добавил: — С бабьим днем тебя! Пусть сбудется все, что намечено на этот год и скорее будет весна, и здорова будь. А резвости дети и внуки добавят. Твой Витя».*

Восьмой автограф — на книге «Мальчик в белой рубашке». Виктор Петрович мне написал: *«Маня! Эту новую книгу дарю тебе, как всегда, с любовью и благодарностью, ведь тут столько твоего труда! Не хвораю и будет все хорошо. С благодарностью — Виктор!»*

Девятый. *«Очень мне дорогую книгу — дорогой Мане. Мой все еще падающий лист, надеюсь, что он еще озарит не один день своим нестареющим светом. Как всегда, благодарю за помощь и радость совместной работы.»* («Падение листа»).

Десятый. *«Дорогая Маня! — написал на книге «Последний поклон», вышедшей в 1989 году, на книге, которую и он, и я любим всем сердцем. — Книга еще не окончена, значит, и я живу, и тебе жить вечно, и тебе работа будет. Авось не скоро набреду на последнюю тропку, на которую вывела и отправила меня в жизнь моя бедная мама. Мама пока не зовет к себе, Ирина не торопит под березы, детишки малы и надо жить и работать, пока есть силы. Спасибо еще раз за помощь и стойкость. Кланяюсь и целую — вечно твой Витя».*

Одиннадцатый автограф на первом томе первого собрания сочинений: *«Дорогой Мане — Марии Семеновне, супруге моей, — первый автограф на первом томе первого собрания сочинений, до которого я и не мечтал дожить, но с ее помощью вот дожил... Кланяюсь. Люблю. Благодарю!»* 1979 год.

Двенадцатый. *«Дорогой жене — Марии Семеновне — на добрую память мою книгу, в которой много и ее бессонных ночей, труда и боли. Наверное, лучше мне уж ничего не писать, ибо жизнь не повторяется, а в этой книге вся моя лучшая часть жизни».*

Тринадцатый. *«Дорогой Мане, которая очень и очень много сделала, чтобы эта книга сформировалась и увидела свет».* Этот автограф Виктор Петрович написал мне на книге «Посохи памяти».

Четырнадцатый. *«Дорогая Маня! Дарю тебе этот овсянский цветок на 8 Марта, а сердце овсянское уже давно тебе подарено! С началом еще одной весны! Здоровья, сил для нас всех и терпения»* («Медвежья кровь», 1990 год.)

Пятнадцатый. «Дорогая Маня! Эта книга напоминает нам об Александре Николаевиче Макарове — об одном из прекраснейших людей, встретившихся на нашем счастливом на грузей и добрых знакомых пути. Да не будет им конца!» («Зрячий посох»).

Шестнадцатый. «Мане моей — рыбку, пойманную на Вологодчине под ее чутким и хозяйственным руководством. Беспартийный автор и бросивший рыбалку рыбак».

Семнадцатый. «Родной Мане мой портрет и книгу на все времена и доброе здоровье.» («Тихая птица», 1991 год.)

Восемнадцатый. «Дорогая Маня! С любовью и благодарностью ставлю эти свои каракули на этом томе, до которого Бог дал нам дожить, и повторяю за великим поэтом: «Прости, в чем был и не был виноват»... Храни тебя Господь!» 1991 год.

Я не специально подбирала книги Виктора Петровича с его автографами, подаренные мне в разные годы нашей жизни. В общей сложности подаренных мне книг много, русских и не русских, и пока я жива, буду беречь их, как собственную душу, возможно, в минуты светлые или печальные, когда я в здравии или когда забрежжат где-то, как бы на горизонте, мои земные сроки и я пожелаю, если смогу, с нежностью и благодарностью с теми и с тем, кого и что любила, — нагадаться напоследок или сказать, чего не сказала, хотя горячо того хотела в добрые времена, как, к примеру, поступил мой муж, сообщив мне в письме из далекой дали о том, чего хотел бы мне сказать в наш торжественный день — сорок пять лет совместной жизни — по телефону, но связь до Красноярска дошла, а до квартиры «не допустили», мол, не отвечают, а по времени — 11 часов вечера, когда внучка уж спит, внук сидит за книжкой, а я доглаживаю белье — как же мы могли бы не ответить?! Ну да что теперь — не соединили так не соединили. А написал он вот что:

«А тебе, Маня, в сегодняшний наш торжественный день хочу повторить то, что собирался сказать по телефону, — я тебя люблю больше всех людей на свете! Желаю, чтобы ты была всегда с нами и терпела нас, сколько возможно. Ложусь спать, думая о тебе и ребятишках. Целую всех вас. Ваш — твой муж, и ребятам дед — дедушка и муж!..»

\*\*\*

Еще давно, еще из Перми я вынужденно уезжала на две недели в санаторий. Прошла неделя, и мне вручают телеграмму! Я чуть не умерла от мысли: «Дома случилась беда». Дрожащими руками развертываю и читаю... «Где вехотка?». Две недели не моимся! Виктор.»

А баня, в которой продавались в ту пору и веники, и мочалки, и другое, — через дом от нас, да вот купить не догадался!.. С ним, с Виктором Петровичем, бывало такое и раньше, да и теперь случается (как со всеми). Увидела: на моем просторном письменном столе посередине лежит чистый лист бумаги, на нем, тоже посередине, приклеена маленькая, пожелтевшая уже вырезка из какой-то газетки. Над нею крупными буквами написано: «ТОРЖЕСТВУЙ, МАНЯ!» А подзаголовок той заметки: «Если ты — левша». В заметочке той сказано: «Ученые подсчитали, что левши составляют примерно 6% от числа жителей нашей планеты. Известно так же, что левшами были такие знаменитые люди, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, римский император Тибериус, актер и режиссер Чарли Чаплин и многие другие. В некоторых странах, учитывая эту физическую особенность граждан, выпускают даже специальные «левосторонние товары». Я раз прочтала, другой, и в этот момент заходят к нам всегда желанные друзья, муж с женой. Пока чай кипел, пока на стол накрывала, гости уже о чем-то разговаривали. Я взяла заметку-листок и попросила внимания, и после Чаплина, замыкающего список, прочтала и свою фамилию. Виктор Петрович, сверкнув зрячим глазом, уставился на меня:

— Где это ты вычитала?!

— Да вот, — показываю я вырезку. Виктор Петрович выхватил у меня листок, перечитал заметку и, сбивый с толку, снова ко мне:

— Ну где?!

Я сказала, что газетка, видать, давнишняя, и вот забыли написать, но я на самом деле чистокровная левша и, значит... тоже знаменитость.

— Какая?!

— Так я же твоя жена, ты уж давно — знаменитость, известный миру писатель. Значит, и я — знаменитость. Вот и все!

Или вот: дело было перед женским праздником, а Виктор Петрович отвечал в очередной раз на вопросы в какой-то анкете, но дело это ему надоело, и он в заключение написал: «Марья моя стирает кальсоны, кормит семейство, мне же надоело и без того ежедневное писание. Скажите спасибо, что столько наотвечал...» И тут же подумал, что Марье ведь придется чего-то дарить и достал из стола красивую записную книжечку, корочка расписана под Палех, открыл первую страничку, а на ней тоже вопросы, и он стал заполнять:

Фамилия — АСТАФЬЕВА, имя — МАРИЯ, отчество — СЕМЕНОВНА.

Местожительство — ЗЕМЛЯ, адрес — СИБИРЬ, телефон домашнего — ПОЧТИ НЕ РАБОТАЕТ, место работы — КУХНЯ.

Телефон служебный — У ОЛЫГИ СЕМЕНОВНЫ (лечащий врач).

Паспорт, серия — не различить от частого пользования, страховой полис — 000000000000; сберегательная книжка — В СТОЛЕ.

Группа крови — РУССКАЯ, КРАСНАЯ; резус-фактор — ПОКА НИЧЕ.

Скорая помощь — САМА ПРИЕДЕТ.

При пожаре: ЗВОНИТЬ В МИЛИЦИЮ ГЕННАДИЮ ИВАНОВИЧУ ШЕСТАКОВУ — милиционеру и ЯРОШЕВСКОЙ.

В заключение поздравляю с началом весны! С праздником! Здорова будь!

ЗАПОЛНИЛ КРАСНОАРМЕЕЦ АСТАФЬЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ.

#### В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Н.А. Некрасов

Я не люблю иронии твоей,  
Оставь ее отжившим и не жившим,  
А нам с тобой, так горячо любившим,  
Еще остаток чувства сохранившим,  
— Нам рано предаваться ей!

Пока еще застенчиво и нежно  
Свидание продлить желаешь ты,  
Пока еще кипят во мне мятельно  
Ревнивые тревоги и мечты  
— Не торопи развязки неизбежной!

И без того она недалека:  
Кипим сильней, последней жаждой полны,  
Но в сердце тайный холод и тоска...  
Так осенью бурливее река,  
Но холодней бушующие волны...